

# «О СЕБЕ»

РАННЯЯ АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ \*

Исследование и публикация А. Н. Дубовикова

## ВВЕДЕНИЕ

Автобиографическая повесть Герцена «О себе», над которой он работал в тридцатые годы, неоднократно привлекала внимание исследователей. О ней писали Е. С. Некрасова и М. К. Лемке, в последние годы — В. А. Путинцев и Л. Я. Гинзбург. В результате их работ было установлено место этой повести в творчестве Герцена, ее значение как зерна, из которого выросли впоследствии «Записки одного молодого человека» и еще позднее — «Былое и думы». На основании переписки Герцена с Н. А. Захарьиной, по приведенным там названиям глав и кратким замечаниям об их содержании, был выяснен почти полностью состав повести и последовательность написания отдельных глав. Наиболее полное освещение этот вопрос получил в книге В. А. Путинцева «Герцен-писатель» (М., 1952, стр. 26—32); итоговая сводка всех относящихся к нему данных приведена в составленном Л. Я. Гинзбург комментариях к первому тому Собрания сочинений Герцена, издаваемого Академией наук СССР (М., 1954, стр. 502—504).

Но самый текст повести до сих пор оставался почти неизвестным. В научной литературе прочно утвердилось мнение, что он утрачен. «Среди „белых пятен“, которыми изобилует для нас раннее творчество Герцена, утрата рукописи его автобиографии особенно досадна» (В. А. Путинцев в. Указ. соч., стр. 32). Считается, что из всей повести «О себе» до нас дошел в составе воспоминаний Т. П. Пассек «Из дальних лет» лишь один отрывок, помещенный ею в заключительной главе первого тома, названной «Последний праздник дружбы» (у Лемке под заглавием «О себе» — II, 163—175; то же в изд. АН, т. I, стр. 170—182). Другой отрывок, также сохранившийся в книге Пассек и, как мы постараемся ниже доказать, относящийся к той же повести или, во всяком случае, примыкающий к ней, был напечатан Лемке под 1835 г. с произвольным заглавием «Арест и высылка» (I, 180—186) и не поставлен в связь с повестью «О себе»; так же рассматривает этот отрывок и В. А. Путинцев, причисляющий его к серии отдельных автобиографических заметок, которые могли быть использованы Герценом впоследствии «для его большой автобиографии тридцатых годов, условно называемой „О себе“». При этом В. А. Путинцев отмечает, что отрывок известен нам «из вторых рук и потому с текстом сомнительной достоверности» (В. А. Путинцев в. Указ. соч., стр. 23).

Материалы «пражской коллекции», в частности сохранившиеся в ней письма Т. П. Пассек к Огареву и к М. К. Рейхель, дали возможность

\* При ссылках в настоящей работе приняты следующие сокращения:

П. — Т. П. Пассек. Из дальних лет, тт. I—III. Второе издание, СПб., 1905—1906.

Р. С. — «Русская старина».

Изд. АН — А. И. Герцен. Собр. соч. Изд-во АН СССР, т. I, М., 1954.

прояснить вопрос об источниках, которыми пользовалась Пассек при печатании в своих записках отрывков из повести «О себе». Л. Я. Гинзбург привела в названных выше комментариях выдержку из письма Пассек к Огареву от 19 ноября/1 декабря 1873 г. с сообщением о найденной в московском доме брата Герцена, Егора Ивановича, тетради с «юными записками» Герцена. Однако, располагая этим и некоторыми другими ценнейшими показаниями Пассек, Л. Я. Гинзбург не сделала из них необходимых выводов и не произвела всех разысканий, на которые наталкивали сообщения Пассек, сделанные ею в письмах к ее заграничным друзьям.

Первые упоминания о наличии у Пассек рукописей Герцена 30-х годов мы находим в ее февральских письмах 1873 г.: «Так, у меня есть несколько брошенных бумаг воспоминаний Саши, писанных в 30-х годах, — конечно, не печатанных — они идут среди моих записок под титулом „Из брошенных листков“» (письмо к Рейхель, без даты — ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 274, л. 35—35 об.). Столь желаконично сказано об этом в письме к Огареву от 14 февраля: «У меня есть „брошенные листки“ сашинных записок, 30-х годов — из них идут выписки под названием „Из брошенных листков“» (там же, ед. хр. 162, л. 79 об.).

Более подробный рассказ, с некоторыми любопытными деталями, содержится в ноябрьских письмах того же года. 30 ноября 1873 г. Пассек писала Рейхель о своей работе над записками:

«...Идут легко и хорошо. Чувствую, что крешну. Надеюсь, пройдут в печати. Много есть из *брошенных листков Саши*. Саша о них вспоминал в своем предисловии к „Былому и думам“ и решил, что их нет. А я спасла их случайно. Саша писал Егору Ивановичу, чтобы передал мне его книги; но книги оказались раскрадены; кой-какие разрозненные части валялись в кладовой у Ивана Алексеевича — старые книги и бумаги; в одном ящике с соломой я увидела истрепанные, испачканные несколько листов руки Саши, — пожалела их и взяла, да долго и не читала, так — вспомнить берегла. Прочтя увидела — его юные записки, многого нет, изорвано, пропало, но что есть, то теперь среди моих воспоминаний идет, да сохранится каждая строчка его в России и каждая черта его жизни» (л. 62 об.).

19 ноября/1 декабря того же года Пассек писала о том же Огареву:

«...Взгляни в предисловие „Былого и дум“, том третий — Саша говорит: „Всего досаднее, что нет целой тетради между первым напечатанным отрывком и вторым. Я помню, что в ней был наш университетский курс и что тетрадь оканчивалась „соборной поездкой“ в Архангельское, описанием обеда и шира возле оранжереи, и проч. — Эта тетрадь, довольно большая, Ник, у меня и идет в моих записках под названием „Из брошенных листков А. И. Герцена“».

Саша писал Егору Ивановичу, когда мы виделись с ним в Париже, чтобы он передал мне все его книги и бумаги. Книги оказались раскраденными, — кой-какое старье осталось и несколько разрозненных томов нового — все не стоило ничего; бумаг тоже ничего, все пережгли и побросали. Только между хлама увидела я растрепанную тетрадь, — рукой Саши писана, — на поганейшей бумаге, — благоговейно собрала я что было и берегла, как все, что его и о нем говорит. А вот оказывается, что это юные его записки — продолжение „Записок одного молодого человека“, — он жалеет, что их нет, а судьба, через меня, сохранила — и напечатается в России, с воспоминаниями о нем и о тебе, так горячо им любимом...» (лл. 67—68).

Оба эти взаимно дополняющие друг друга сообщения позволяют прежде всего установить время, когда были найдены «брошенные листки». Герцен писал Егору Ивановичу из Парижа, когда встретился там с Пассек,

то есть в 1861 г. Сразу после возвращения она, вероятно, навестила старый дом Яковлева, где и обнаружила остатки герценовских рукописей. Они пролежали у нее до 1872 г., когда, в связи с начатой работой над воспоминаниями о Герцене, она обратилась к ним. Таким образом, приходится признать ошибочным указание Л. Я. Гинзбург, что Пассек нашла рукопись Герцена в 1872 г.

Нельзя не обратить внимание на заявление Пассек, что в ее записках «много есть из брошенных листков Саши». Соответствует ли это выражение тому, что до сих пор было выявлено в качестве герценовского текста в ее записках? Вряд ли она употребила бы это выражение, если бы нашла всего лишь один-два фрагмента. Перед исследователем возникает задача внимательного изучения всех записок Пассек — в поисках, не скрыты ли в них еще другие отрывки из той же ранней автобиографической повести, которую Герцен в письмах к Н. А. Захарьиной называл «Юность и мечты», «Моя жизнь», «Юность», а чаще всего — «О себе».

Как нами рассказано в другом месте (см. настоящий том, стр. 620—621), Пассек нашла в московском доме Егора Ивановича оставшиеся там после отъезда Герцена за границу рукописи произведений Герцена тридцатых-сороковых годов — от повести «О себе» до «Сороки-воровки». Но формулу «брошенные листки» Пассек употребляла в письмах к Огареву и к Рейхель, а также в тексте своих воспоминаний применительно *только к найденным ею автобиографическим запискам Герцена тридцатых годов*. В таком ограниченном смысле это выражение используется и нами в настоящей работе.

Предпринятый нами критический анализ воспоминаний Пассек «Из дальних лет», с привлечением данных ее переписки с Огаревым, М. К. Рейхель, Н. А. Тучковой-Огаревой, Т. А. Астраковой, М. И. Семевским и другими лицами, а также материалов из архива «Русской старины» и документов С.-Петербургского цензурного комитета, привел нас к выводу, что традиционный взгляд на книгу Пассек как на источник весьма сомнительной достоверности должен быть пересмотрен. Этот вывод относится как к мемуарным свидетельствам самой Пассек, так и к другим воспоминаниям и документам, приведенным в ее книге (подробное обоснование этого вывода и изложение результатов исследования см. в нашей работе, публикуемой в настоящем томе, стр. 565—646). Особенно важно отметить, что при использовании текстов Герцена Пассек всегда стремилась к более или менее точной их передаче. Но цензурные условия вынуждали ее нередко прибегать к сокращениям и перифразам, а недостаточная опытность в деле публикации текстов (особенно по рукописям) приводила ее к отдельным ошибкам и неточностям, которые, однако, были обычны в практике документальных публикаций семидесятых-восьмидесятых годов XIX в. Во всяком случае, она всегда добивалась верной передачи смысла чужого произведения или отрывка и никогда не выдавала свой текст за принадлежащий Герцену. Это обязывает нас со вниманием и доверием отнестись ко всем тем случаям, когда Пассек, прямо или косвенно, указывает на принадлежность Герцену печатаемых ею текстов. Мы намеренно говорим «прямо или косвенно», потому что ей во многих случаях приходилось с помощью различных приемов маскировать свои заимствования из произведений Герцена, поскольку выписки из них, как и прямые ссылки на Герцена, были категорически запрещены цензурой (см. в настоящем томе стр. 624 и след.).

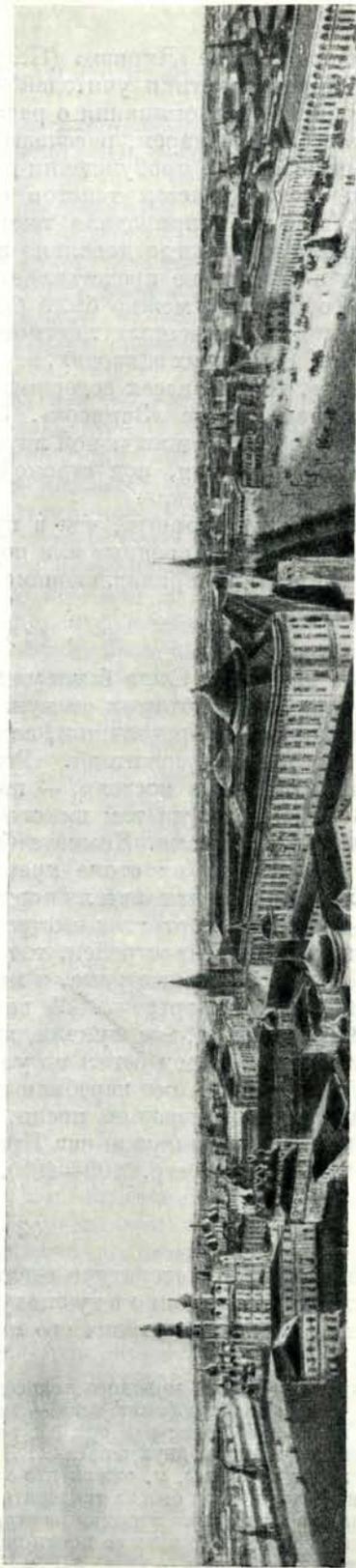
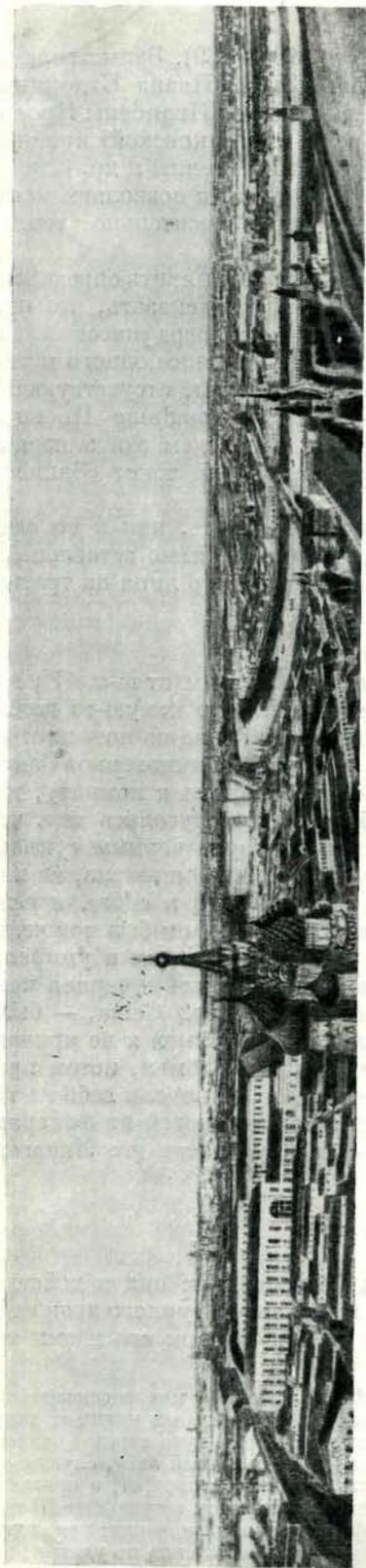
Применяя выводы, сделанные на материале анализа воспоминаний Пассек в целом, к решению частного вопроса о судьбе найденных ею «брошенных листков», мы можем установить, что она значительно более широко использовала рукопись герценовской автобиографии тридцатых годов, чем это до сих пор предполагалось. А сопоставление выявленных нами

фрагментов повести «О себе» с известными нам названиями входивших в нее глав позволяет утверждать, что текст этой повести дошел до нас в составе книги Пассек, если не в полном виде, то, несомненно, в значительной своей части. Располагая точными данными о приемах обработки текстов Герцена из «Былого и дум» и «Записок одного молодого человека» и включения этих текстов в книгу Пассек, мы не можем быть убеждены, что она всюду точно воспроизвела и страницы из «брошенных листков». В одних случаях она приводила текст в неприкосновенном виде, но в других случаях она его несколько препарировала, прибегая к сокращениям, к замене первого лица третьим, к превращению связного повествовательного изложения в диалог. Иногда она соединяла отрывки связующими фразами или целыми абзацами, написанными ею самой. Все это затрудняет задачу выявления герценовских текстов, но не делает ее совершенно неразрешимой. Опираясь на различные доступные нам материалы, касающиеся истории работы Пассек над ее воспоминаниями, в частности, сопоставляя текст отдельного издания «Из дальних лет» с текстом журнальной публикации, а также с сохранившимися корректурами, мы получаем возможность доказать принадлежность к «брошенным листкам» Герцена ряда фрагментов, опубликованных Пассек. В систему наших доказательств мы вводим и элементы стилевой характеристики подлежащих анализу отрывков, поскольку своеобразный, неповторимый в своей резкой индивидуальности стиль Герцена явственно выделяется в большинстве случаев на фоне литературно грамотного, но неизмеримо менее богатого языка самой Пассек. Повторяем, у нас нет уверенности, что она сохранила отрывки из повести «О себе» в неприкосновенном виде; но что эти отрывки принадлежат Герцену, в этом, как будет показано ниже, не может быть никакого сомнения. И только прочно утвердившись в научной литературе недоверием к Пассек, поддержанным всей силой герценоведческого авторитета Лемке, можно объяснить странный на первый взгляд факт, что до сих пор никем из исследователей жизни и творчества Герцена этот материал не был обнаружен.

## ГЛАВЫ О ДЕТСТВЕ

О первых шести главах повести «О себе», вошедших в тетрадь, привезенную Кетчером в марте 1838 г. Н. А. Захарьиной, нам известно очень немного. Они охватывали время от 1812 г. до ранней юности, то есть, вероятно, до поступления в университет, поскольку следующая после них седьмая глава называлась «Студент». В переписке Герцена с Н. А. Захарьиной упоминаются названия четырех глав: «Дитя», «Огарев», «Деревня» и «Пропилеи». От остальных двух глав не сохранилось и названий — гадать об их содержании, не имея никаких отправных точек, — беспечно. Можно только предположить, что в них, как и в главе «Дитя», Герцен вспоминал о жизни своей и своих близких от 1812 до 1825 г., то есть о том периоде своей жизни, который он сам назвал своим «ребячеством».

Анализ тех глав воспоминаний Пассек, в которых рассказано о детстве Герцена, а также изучение находящихся в нашем распоряжении материалов позволяют установить источники почти всех эпизодов, в той или иной мере заимствованных у Герцена. Чаще всего Пассек обращалась к тексту «Былого и дум». Отсюда она перенесла в свои записки характеристики Ивана Алексеевича и Сенатора, а также других обитателей и посетителей яковлевского дома. К «Былому и думам» восходят и некоторые бытовые эпизоды, например, рассказ о праздновании именин и дня рождения Саши. Многие страницы рассматриваемых глав книги Пассек заимствованы ею из «Записок одного молодого человека» — прямую ссылку на них она



ПАНОРАМА МОСКВЫ  
Картина маслом А. Кадоля, 1820-е гг.  
Музей истории и реконструкции Москвы

дает, например, в главе «Лиризм» (II, т. I, стр. 188—189). Заимствованы портреты и характеристики учителей — Бушо, Экка, Ивана Евдокимовича Протопопова, воспоминания о рассказах Лизаветы Ивановны Прово, эпизод с волшебным фонарем, рассказы о приезде «меленковской» кузины, о дружбе с нею Саши, о пробуждении в нем страсти к чтению и др. Сличение приведенных у Пассек текстов с их источниками позволяет установить, что она либо приводила тексты Герцена относительно точно, либо сокращала их, иногда довольно значительно.

В главах о детстве не представляется возможным выявить определенные тексты, о которых можно было бы с уверенностью сказать, что они заимствованы из «брошенных листков» ранней автобиографической повести Герцена. Но в двух эпизодах, восходящих к «Запискам одного молодого человека», текст Пассек содержит некоторые детали, отсутствующие в известном нам тексте «Записок». Это — рассказы madame Прово и воспоминания об увлечении юной литературой». Приведем эти эпизоды, помещая, для сравнения, под строкой соответствующий текст «Записок одного молодого человека».

Читатель должен помнить, что в публикуемом тексте, как и во всех последующих, имеются вводные или переходные фразы, явно вставленные самой Пассек, а также принадлежащие ей замены первого лица на третье.

< 1 >

Любимым рассказом Саши были ужасы, слышанные им от m-me Прово о масонах, при ложе которых ее муж занимал когда-то какую-то должность, и о французской революции, во время которой едва не повесили на фонаре ее почтенного сожителя. «Раз, — начинал обыкновенно Саша, смиренно лежа зашитый в постели, — m-me Прово попала в комнату, где собирались масоны, когда там никого не было, и перепугалась так, что чуть не умерла со страха. Комната была вся обтянута черным сукном, посредине стоял стол, на столе крест, на кресте два кинжала, на них мертвая голова. На стенах висели портреты всех масонов в свете, и если в который-нибудь из портретов выстреливали, то где бы ни был тот человек, чей портрет был прострелен, тот в ту же минуту падал и умирал». Слушая это, я дрожала от страха, и мне всюду мерещилась и черная комната, и кинжалы, и портреты. «А вот еще, — говаривал Саша, — была во Франции революция, все шумели, кричали, кто не шумел и не кричал, тем рубили головы, народ бегал по улицам, все бил, ломал, потом прибежали во дворец и там все перебили и переломали да надели себе на головы красные колпаки, запели песни, пошли вешать людей на фонарях, хотели повесить на фонаре m-eur Прово, — насилу спасла его Лизавета Ивановна\*» (II, т. I, стр. 108—109).

< 2 >

Поклонение юной литературе сделалось безусловным: она и действительно могла увлечь, именно в ту эпоху. Во главе литературного движения явился Пушкин; каждая строка его летала из рук в руки; его поэмы чи-

\* В «Записках одного молодого человека»: «Но что же она мне рассказывала? Во-первых, — это была ее любимая тема, — как покойный муж ее был каким-то метрд'отелем в масонской ложе; как она раз зашла туда: все обтянуто черным сукном. а на столе лежит череп на двух шпагах... Я дрожал, как осиновый лист, слушая ее. На стенках висят портреты, и, ежели кто изменит, стреляют в портрет, а оригинал падает мертвый, хотя бы он был за тридевять земель, в тридесятом государстве. Потом рассказывала она интересные отрывки из истории французской революции: как опять-таки покойный сожитель ее чуть не попал на фонарь, как кровь текла по улицам, какие ужасы делал Робеспьер...» (изд. АН, т. I, стр. 261).

тали в списках, твердили наизусть, «Горе от ума» сводило всех с ума, волновало всю Москву.

«Московский телеграф», только что начавший свое поприще, быстро передавал современное умственное состояние Европы и читался с увлечением.

Войнаровский и думы Рылеева возбуждали дух гражданственности. Козлов переводил Байрона. Типы его героев водворялись в жизнь общества, облагораживали его и отражались в поэмах и повестях. Шиллер передавался в прелестных переводах Жуковского. Альманахи сыпались. В воздухе веяло верованиями, надеждами, увлечениями. Когда появился «Евгений Онегин» — его приветствовал всеобщий восторг\* (П., т. I, стр. 200).

Вопрос, откуда Пассек взяла оба эти отрывка, до выявления новых документальных материалов не может быть в полной мере разрешен. Первый из них заключен у Пассек в кавычки — серьезное указание на то, что перед нами текст Герцена: как показывает анализ воспоминаний Пассек в целом, она пользовалась кавычками только при введении чужого текста и никогда не выделяла таким способом своего собственного изложения. Но второй отрывок не выделен кавычками, хотя его соотношение с текстом «Записок» Герцена таково же, как и первого. Не исключено, что перед нами случайно сохранившиеся фрагменты из первых глав повести «О себе». Поскольку, однако, может быть выдвинуто и другое предположение, — что Пассек от себя дополнила текст «Записок одного молодого человека», опираясь на собственные воспоминания, пробужденные чтением Герцена, — мы воздерживаемся от каких-либо определенных выводов об этих двух отрывках.

Столь же неясным представляется вопрос об источниках еще одного эпизода из воспоминаний Пассек. В главе XVI первого тома она очень коротко пересказала историю трех жертв крепостного рабства — повара Алексея, принадлежавшего Сенатору, живописца Летунова и скульптора, ученика Витали (П., т. I, стр. 258—259). Известно, что о судьбе повара Алексея рассказано в «Былом и думах». Текст Пассек не добавляет ничего к тому, что мы знаем по рассказу Герцена. В дошедшей до нас корректуре этой главы, которая должна была войти в майскую книгу «Русской старины» 1875 г., но была запрещена цензурой (подробнее об этой корректуре см. ниже, на стр. 626—628), история повара Алексея была изложена значительно более подробно и притом с рядом деталей, отсутствующих в тексте «Былого и дум». Хотя и здесь можно предполагать, что Пассек дополнила Герцена, опираясь на собственную память, это не лишает ее вариант интереса для читателей и исследователей «Былого и дум». Также значительно полнее рассказана в этой корректуре и история безымянного скульптора, не отразившаяся в «Былом и думах», но, несомненно, навеянная чтением герценовских страниц, посвященных рассказам о людях, загубленных гнетом рабства. Приводим оба эти рассказа по тексту первой корректуры, хранящейся в Пушкинском доме (ф. 265, № 18, лл. 191—192).

\* В Записках одного молодого человека: «Зато поклонение юной литературе сделалось безусловно, — да она и могла увлечь именно в ту эпоху, о которой идет речь. Великий Пушкин явился царем-владельцем литературного движения; каждая строка его летала из рук в руки; печатные экземпляры „не удовлетворяли“, списки ходили по рукам. „Горе от ума“ наделало более шума в Москве, нежели все книги, писанные по-русски, от „Путешествия Коробейникова к святым местам“ до „Плодов чувствований“ князя Шаликова. „Телеграф“ начинал энергически свое поприще и неполными, угловатыми знаками своими быстро передавал европеизм; альманахи с прекрасными стихами, поэмы сыпались со всех сторон; Жуковский переводил Шиллера, Козлов — Байрона, и во всем, у всех была бездна надежд, упований, верований горячих и сердечных. Что за восторг, что за восхищенье, когда я стал читать только что вышедшую первую главу „Онегина“!» (изд. АН, т. I, стр. 268).

&lt; 3 &gt;

Обед у Сенатора в торжественные дни готовил всегда его знаменитый повар Алексей. Служивши в английском клубе, Алексей нажил хорошее состояние, женился и стал жить по-барски. Нанял хорошую квартиру, прислугу, ездил в коляске, давал обеды и вечера, которые украшались посетителями с звездой на груди. Желю рядил в шелк и бархат. Он считал себя больше поэтом, чем поваром: сочинял стихи, говорил отборными словами и постоянно мучился мыслью, что он — крепостной человек. Зная, что Сенатор не любит отпускать свою прислугу на волю, Алексей после долгого колебания решился, помолясь богу, идти к барину и предложил ему за себя пять тысяч ассигнациями. Сенатор, гордясь своим поваром, отказался от денег, говоря, что по смерти своей отпустит его даром.

Отказ так поразил Алексея, что он начал пить горькую чашу, спустил весь свой капитал, стал служить по домам, но нигде не мог ужиться, наконец, о нем зашел и самый слух,— как вдруг полиция привела его к Сенатору, оборванного, одичалого. Жалея его, Сенатор дал ему отдельную комнату, одел, не сделал ни малейшего выговора; но Алексей продолжал пить, шуметь и говорить стихами,— тогда Сенатор отдал его Ивану Алексеевичу на исправление, надеясь, что тот урезонит его, и вскоре сам внезапно скончался. Иван Алексеевич тотчас дал Алексею вольную, но было уже поздно. Так он и пропал без вести <...>

Одно из самых грустных воспоминаний оставил по себе крепостной скульптор. Он принадлежал одному из наших родственников. Сделанный им бюст императора Николая Павловича из белого мрамора, в лавровом венке, показал замечательный талант, обратил на себя всеобщее внимание на художественной выставке, в Москве и, сколько мне помнится, получил первую награду. Этот скульптор постоянно страдал чувством своей неволи. Он страстно любил свое искусство, болезненно жаждал видеть лучшие произведения резца, учиться под голубым небом Италии, мечтал о славе; может, и был бы славою России.

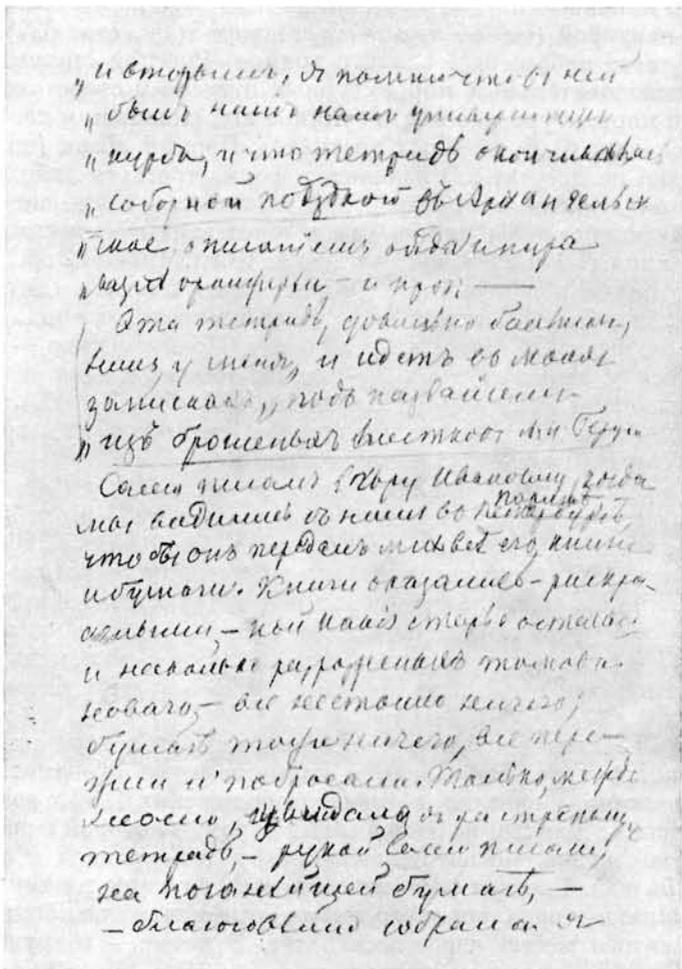
Я помню, с каким восторгом говорили о сделанной им статуе — гения в цепях; а самого его крепостная цепь держала, как собаку, на привязи. Господин гордился своим скульптором точно так же, как Сенатор своим поваром, и ни за какие деньги, ни по каким просьбам и представлениям самых близких и уважаемых им людей не согласился отпустить его на волю. Этот несчастный художник, жертва крепостного быта, за что-то наказанный телесно, был так поражен этим, что впал в чахотку и кончил жизнь свою в молодости.

## ОГАРЕВ

В отношении приведенных нами выше фрагментов мы не могли пойти дальше предположений и условных допущений. Но в отношении текста из главы «Огарев» мы можем опираться на гораздо более веские и убедительные аргументы.

XVI глава отдельного издания первого тома «Из дальних лет» (в «Русской старине» она напечатана как глава XV) содержит живой и выразительный рассказ о гулянье под Новинским и о первом обеде Герцена и Огарева в «ресторации». Непосредственно за ним следует рассказ об их прогулках на Воробьевы горы и о данной ими клятве. Заканчивается вся эта часть главы воспоминанием о том, как десять лет спустя Герцен и его жена проездом остановились у Воробьевых гор и пошли на «святое место», где «художником-страдальцем» был заложен храм (П., т. I, стр. 259—264).

В отрывке, лишенном каких бы то ни было ссылок на источники и переведенном в форму изложения от третьего лица, сохранилась юношеская патетика Герцена, его неповторимый стиль. В «Былом и думах» об этих эпизодах рассказано по-иному, значительно короче, а о последнем — вообще нет ничего. Считать отрывок вольным сочинением Пассек по канве «Былого и дум» — невозможно: она для этого не располагала ни детальным



АВТОГРАФ ПИСЬМА Т. П. ПАССЕК К ОГАРЕВУ ОТ 19 НОЯБРЯ /  
 1 ДЕКАБРЯ 1873 г. С УПОМИНАНИЕМ О НАЙДЕННОЙ  
 ЕЮ ТЕТРАДИ С РУКОПИСЯМИ ГЕРЦЕНА 1830-х гг.

Пассек сообщает, что печатает эти рукописи в своих записках  
 под названием: «Из брошенных листов А. И. Герцена»  
 «Пражская коллекция»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

знанием описываемых событий, о которых идет речь, ни ярким литературным талантом, печатью которого отмечен весь рассматриваемый отрывок. Рассказ ведется с необыкновенным изяществом и непринужденностью, кисть художника свободно и легко переходит от одной детали картины к другой, живо набрасывая беглые, но выразительные образы посетителей гулянья под Новинским. Неожиданные сопоставления и антитезы,

остроты и каламбуры, внезапные переходы от иронического правоописания к лирическим раздумьям — во всем этом нельзя не узнать искрометный стиль Герцена. Так писать умел только он.

Все эти наши соображения и наблюдения мы имеем возможность подкрепить доподлинительно весьма серьезными доказательствами документального характера.

Названные эпизоды входят в состав той главы, которая должна была появиться в майской книге «Русской старины» 1875 г., но была полностью запрещена цензурой (см. об этом в настоящем томе, стр. 627). От подготовленного тогда набора этой главы в архиве «Русской старины» сохранились два последовательных корректурных оттиска в сверстанных листах.

В первой корректуре рассказ о гулянье под Новинским дается со ссылкой: «Как сказано в „брошенных листках“». Первый абзац (до двуступицы «Какое сердце не дрожит...») изложен в форме третьего лица и без кавычек. От слов: «Ежели в прозаической жизни...» — и до конца эпизода («...после бифтекса и рябчиков») весь текст взят в кавычки и приведен от первого лица (ИРЛИ, ф. 265, оп. 1, № 18, л. 192—192 об.). Во второй корректуре начальная ссылка на «брошенные листки» снята, кавычки перед «Ежели» убраны, изложение ведется от третьего лица. В середине рассказа говорится: «Спокон веку любил я Подновинское, — писал дядя в хранящихся у меня листках», — и далее до конца — от первого лица, с заключительными кавычками (там же, лл. 201 об. — 202 об.). В журнальном тексте кавычки сняты, ссылка на дядю отсутствует, изложение ведется от третьего лица. То же в отдельном издании.

Вслед за рассказом о Подновинском в той же главе у Пассек (в первой корректуре) идет абзац, вводящий в новую тему, — Воробьевы горы: «Лужники находятся на низменной стороне Москвы-реки, против Воробьевых гор, которые колоссальная мысль художника хотела превратить в храм божий, а Саша опозитизировал своей дружбой с Ником» (л. 193). Во второй корректуре конец (от слов «а Саша...») снят и заменен многоточием; в «Русской старине» исчезло и оно. В отдельном издании (т. I, стр. 261) весь абзац расширен, но упоминание о дружбе Саши и Ника не восстановлено.

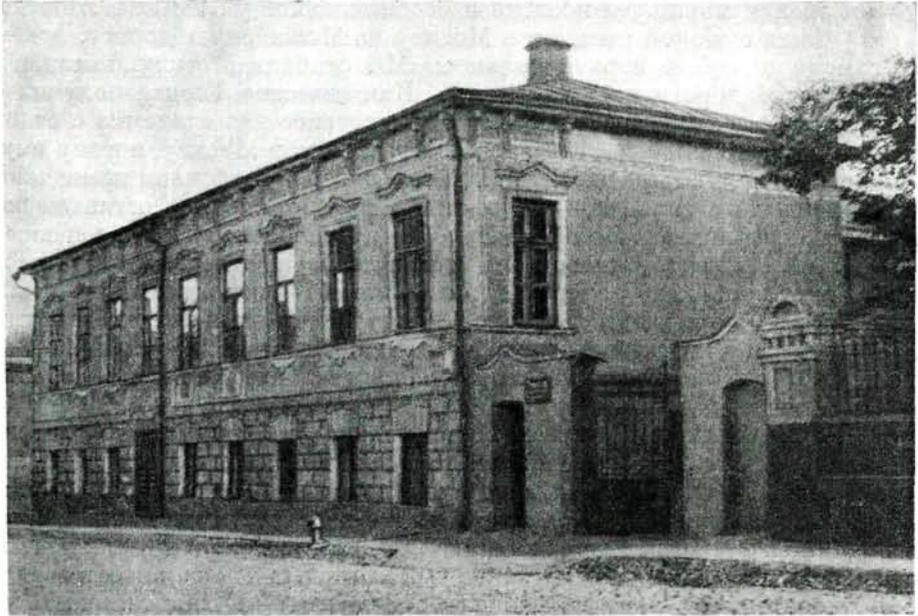
После этого вводного абзаца, написанного, очевидно, самой Пассек, в первой корректуре открываются кавычки перед словами: «И вот мы на вершине горы, — сказано в „брошенных листках 1830-х годов“». Далее следует рассказ о клятве на Воробьевых горах, о которой сказано: «...поклонились всю жизнь посвятить на борьбу с неправдой и пороками...» (лл. 193—194 об.). Рассказ о клятве сменяется другими темами: размышления о художнике-страдальце и его храме, воспоминания о посещении вместе с женой «святого места» через десять лет. В конце — о дружеской переписке с Ником, уехавшим в деревню.

Во второй корректуре начало эпизода (конец его не сохранился) дано так же, как и в первой, осталась форма изложения от первого лица, но в кавычки заключен только первый абзац (лл. 202 об. — 203 об.). В «Русской старине» ссылка на «брошенные листки» убрана, кавычки исчезли, первое лицо («мы») всюду заменено третьим. В таком виде эпизод перешел в отдельное издание (П., т. I, стр. 261—264). При этом в конце его исчезла характеристика писем и разговоров обоим друзьям, текст приведенных в первой корректуре двух записок и заключительная мысль о «кинжальных уверениях в дружбе» (лл. 194 об. — 195).

Сравнение обоих текстов этого отрывка — в первой журнальной корректуре и в отдельном издании «Из дальних лет» — дает возможность не только доказать, что текст был извлечен из «брошенных листков» Герцена: оно позволяет непосредственно проследить, каков был характер той обработки, которой Пассек вынуждена была подвергать герценовский

текст, чтобы затушевать факт прямого его использования в своей книге. При этом легко установить несколько категорий, по которым могут быть распределены ее переделки.

К первой категории мы относим изменения, явно вызванные оглядкой на цензуру. Сюда может быть отнесен, например, пропуск слов «усталые от Ефимов» (в описании людей, идущих под Новинское встречать весну): упоминание в таком контексте великопостной церковной службы, конечно, могло быть сочтено цензурой непозволительным. Такого же рода, по нашему мнению, пропуск строк из описания клятвы на Воробьевых горах: «Долго мы не могли насмотреться друг на друга. Казалось, бытие наше просветилось. Мы смотрели, на себя, как на апостолов, как на людей,



ДОМ И. А. ЯКОВЛЕВА НА УГЛУ СИВЦЕВА-ВРАЖКА И МАЛОГО ВЛАСЬЕВСКОГО ПЕРЕУЛКА В МОСКВЕ (ТЕПЕРЬ № 25/9). ЗДЕСЬ ГЕРЦЕН ЖИЛ В 1833—1834 гг. ДО СВОЕГО АРЕСТА И ССЫЛКИ В ВЯТКУ И ПОЗДНЕЕ В 1846—1847 гг. ДО ОТЪЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ

Фотография, 1930-е гг.  
Литературный музей, Москва

избранных богом, обреченных на великое дело, на великие страдания. С тех пор гора эта нам священна обоим». Особенно показателен в этом смысле пример с переделкой социально заостренной, проникнутой отрицанием крепостничества зарисовкой «доброго мужичка» на празднике: «Там вы увидите нашего доброго мужичка, отделенного от враждебного ему племени фрачишков одной перегородкой; увидите, как он, выпивши стаканчик, забыл, что он нищ, а его барин богат: что он день и ночь работает, а его барин день и ночь ничего не делает, и с детской простотой души хохочет над паясом и обезьяной». В отдельном издании этому соответствует совершенно нейтральный, обезличенный текст: «Там вы увидите, как наш добрый мужичок, отделенный перегородкой от посыпанной песком дорожки, выпивши стаканчик вина, с детской простой души хохочет над паяцем и обезьяной» (П., т. I, стр. 259).

Ко второй категории можно отнести случаи замены отдельных слов или с целью смягчить резкие выражения (например, пропуск слова «с рожей»

во фразе: «И паяс в белой рубашке, в конической шапке, с *рожсей*, выпачканной сажей!») или для нивеллировки языка («под визг одной скрипки» — вместо герценовского «под *скрыл* одной скрипки»).

Третью категорию составляют случаи, в которых трудно распознать мотивы их возникновения. Пассек прибегала иногда к пересказу своими словами герценовской речи, устраняя тем самым ее живую интонацию (например: «Саша велел ямщику остановиться, подал руку жене и вместе пошли на святое место»—вместо: «Стой!» — закричал я ямщику, подал руку Наташе и пошел на святое место»). Примыкают к этому и примеры сокращения, сжатия текста.

Значительный интерес представляют строки, вводящие в заключительный эпизод отрывка — посещение Воробьевых гор с женой. Непонятное с точки зрения маршрута поездки и бессмысленное указание в печатном тексте («Саша с женой въезжал в Москву на Можайскую дорогу, огибая ее») заменило собою первоначальное: «Мы огибали Москву, выезжая с Владимирской дороги на Можайскую». Как известно, Герцен получил от губернатора разрешение на поездку в Покровское для свидания с отцом, но при этом должен был дать слово не заезжать в Москву, почему ему и пришлось сделать объезд вдоль окраин города. В подстрочном примечании сохранилась дата эпизода — 23 июля 1838 г., до сих пор остававшаяся неизвестной (в каше у Лемке сказано неопределенно: «после 14 июля»— XXII, 214). Из подстрочного примечания явствует также, что эта часть текста была написана Герценом дополнительно, — вероятно, под свежим впечатлением пережитого, вскоре, после возвращения во Владимир (в августе 1838 г.). Этим легко разрешается возможное недоумение — как в главу «Огарев», написанную в январе, могло попасть описание событий, происходивших в июле.

В итоге сказанного мы имеем полное право утверждать, что в первой корректуре Р. С. в наибольшей полноте сохранился текст Герцена. Исключение, с нашей точки зрения, составляют последние странички (от слов: «Возвращаюсь опять к 1829 году»), в которых драгоценные для нас частицы подлинного текста Герцена вкраплены в довольно бесцветный и краткий пересказ; в нем, вероятно, сохранен смысл герценовского повествования, но в значительной мере утрачена неповторимая индивидуальность его литературного стиля.

Текст первой корректуры важен для нас не только тем, что он дает возможность восстановить в первоначальном виде данный фрагмент из главы «Огарев». Он является еще одной убедительной иллюстрацией того, что обработка герценовского текста, производившаяся Пассек, хотя и нарушала целостность стиля и языка Герцена, но не искажала смысла. А самое главное—Пассек не прибегала к произвольным вставкам своего собственного текста в текст Герцена.

Приводим текст из главы «Огарев»:

Вскоре после рождения Саши наступила Святая неделя, с гулянием под Новинским, и он первый раз обедал в ресторации. Денег ему почти вовсе не давалось, а когда и давалось, то в таких гомеопатических приемах, что гомеопатическая диета производилась по необходимости. Таким образом, на Святой неделе 1830 года, сказано в «брошенных листках», на третий день, при свидательствовании казны, оказалось в ней 20 рублей, то есть полуимпериял, а праздничных дней предстояло четыре. Обсудив, он решился (и всегда руководствовался после этими мудрыми правилами домашней экономии) прогулять их разом, а с четверга приняться за дело, *si toutefois\** не будет болеть голова, как в Новый год. Решившись, он

\* если только (франц.).

претщательно повязал платок с бантом *pari l'onné\**, надел новый сюртук и, в первом часу, отправился с бадинкой\*\* в руке, с лорнетом в другой и с полумпериалом в кармане, под Новинское.

Какое сердце не дрожит,  
Тебя благословляя! \*\*\*

Ежели в прозаической жизни огромной Москвы есть что-нибудь фантастического, поэтического, то это ее гулянья, ее Подновинское, ее 1-е мая. Люди, усталые от зимы, город, перемерзнувший от стужи, идут под Новинское встретить весну; люди, усталые от поста, усталые от Ефимон, идут под Новинское встретить праздник. Там гуртом торжествуют Святую неделю, там все, от князя Дм. Вл. Голицына до нашего дворника Бучкина, пирует, веселится, радуется празднику божию и празднику природы. Экспромтом построенный город, с кабаком в начале, ресторацией «Яра» в конце и комедиями в середине, зовет всех: кого весной, кого барабаном и музыкой, кого дорожкой, посыпанной песком. Там вы увидите нашего доброго мужичка, отделенного от враждебного ему племени фрачников одной перегородкой; увидите, как он, вышивши стаканчик, забыл, что он нищ, а его барин богат; что он день и ночь работает, а его барин день и ночь ничего не делает, и с детской простотой души хохочет над паясом и обезьяной. Там увидите писцов, забывших о существовании канцелярии, экзекутора, секретаря — в бархатных галстуках и жилетах, в панталонах с лампасами, с шляпой набекрень. Там и щеголи московские — дурные издания щеголей парижских, нечто в роде брюссельских контрафакций; там и *beau monde\*\*\*\** в итальянских шляпах и в корсетах *madame Ké*, — бледный, больной, кружевной, блондовый; там люди эполет, аксельбантов, вышук и петличек; правительствующий сенат и медико-хирургическая академия. Спокон веку любил я Подновинское. Сначала я видел его издали, из кареты, под охраною нянюшек и мамушек; карета останавливалась против каждой комедии, где комедианты выходили на балкон. Какие наряды, какой язык у этого чудовища в медвежьей шкуре, и паяс в белой рубашке, в конической шапке, с рожей, выпачканной сажей! О как бы я был счастлив, ежели бы мог заглянуть туда — в балаган; я вздыхал и не смел надеяться. Прошли и эти времена, я обхаживал все комедии: и Турнье, и Молдуано, и три панорамы, каждая с Ниагарским водопадом, с экспедицией Росса и с мадамой у входа. Наконец, комедии стали менее занимать. Я уже посещал их не все, а на выбор, две-три; но страсть к Подновинскому не уменьшалась, и я чуть не плакал, когда дождь уменьшал днем или двумя Святую неделю.

Итак, я с новой тросточкой и с 20 рублями отправился погулять. Встретился с Ником и, вместе, посидевши на жердочке, как попугаи, пошли с ним обедать к «Яру». В первый раз от роду обедать в ресторации — равняется первому выезду в собрание шестнадцатилетней барышни, танцевавшей до того в танц-классах под фортепиано и под крыш одной крышки. Чтоб показаться настоящим *goué\*\*\*\*\**, я потребовал карту и, блуждая по номенклатуре, гораздо менее известной, нежели Вернера минералогическая, я остановился на *oucha au sterled et au champagne* и на трюфелях, как на самом дорогом, и по той же причине потребовал бутылку Иоганнисберга, старше самого Меттерниха... Другие товарищи, явившиеся также к «Яру», с смирением спросили в 5 р. обед и в 5 р. лафит; наелись досыта,

\* бабочкой (франц.).

\*\* тросточкой (от франц. «la badine»).

\*\*\* Из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов». — А. Д.

\*\*\*\* высший свет (франц.).

\*\*\*\*\* выдавшим виды (франц.).

напились досыта. Для нас, бедных, обед кончился не так благодатно. Ухи ни я ни Ник не могли в рот взять, а раковинной труфелей не будет сыт и бедуин в степи. А между тем оказалось, что не только мои заветные 20 рублей, но даже и Никовы деньги были истреблены, и потому, закуривши натошак сигары, поглядывали мы *d'un œil de convoitise\** на соседей, облизывавшихся после бифтекса и рябчиков.

С наступлением весны Иван Алексеевич стал заговаривать о Васильевском, а пока, чтобы пользоваться прелестной погодой, которая стояла в этом году почти каждый день, возил нас в Лужники. Лужники находятся на низменной стороне Москвы-реки, против Воробьевых гор, которые колоссализировали мысль художника хотела превратить в храм божий, а Саша опэтизировал своей дружбой с Ником.

И вот мы на вершине горы, — сказано в «брошенных листках 1830-х годов». — Бесконечная Москва стлалась и исчезала в неопределенной дали, пышно освещенная заходящим солнцем, лучи которого опирались на золотые маковки церквей... дивный вид, кто его не знает в Москве? Император Павел привел сюда *madame Lebrun*, чтобы она его сняла. *Lebrun* простояла час, с благоговением сказала: «не смею» и бросила свою палитру. Император Александр хотел тут молиться за спасение отечества. Раз вечером были мы с Ником на самом месте закладки храма. Солнце садилось, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горою. Долго мы стояли молча, глубоко тронутые величественной картиной; потом взглянули друг на друга, со слезами бросились друг другу на шею и перед природой и солнцем поклялись всю жизнь посвятить на борьбу с неправдой и пороками...

Ребячество, ребячество! скажу и я, и прибавлю слова Христа: «О, будьте детьми!».

Прошло несколько лет, мы ушли впереди иначе поняли жизнь; но поднимитесь выше, взгляните на начало, из которого истекла вся детская восторженность того времени. Неужели вы не видите в них того высокого инстинкта, по которому человек стремится разлить во вселенную дух свой; неужели не видите всемогущей, всепоглощающей любви, связующей людей и человечество? И какая откровенность! Какое бескорыстие во всех мечтах! Благословляю их. Долго мы не могли насмотреться друг на друга. Казалось, бытие наше просветилось. Мы смотрели на себя, как на апостолов, как на людей, избранных богом, обреченных на великое дело, на великие страдания. С тех пор гора эта нам священна обоим. Сколько раз после того всходили мы на нее и примеривали, так ли, в пору ли нашей душе и вид, и гора. Сколько раз ходили мы туда, чтобы смыть с души наседавшую на нее пыль, и возвращались чистыми.

Еще раз Воробьевы горы — через 40 лет\*\*.

Мы огибали Москву, выезжая с Владимирской дороги на Можайскую. Весьма немногие знают этот лабиринт проселочных дорог, пересекающихся, узеньких, грязных, которые окружают Москву. Дождь из проливного превратился в осенний, похожий на мокрое облако. Глубоко врезывались колеса в глинистую почву. Город был в версте или — много — в двух, но его почти не было видно из-за тумана; несколько зданий неопределенно прививались из-за влажной завесы, большую частью старые знакомые, родные, давно невиданные... Сердце билось, глядя на них... Симонов монастырь, где я так часто бродил между надгробными памятниками; Крутицкие казармы, Донской монастырь, густые массы Нескучного сада,

\* с вожделинем (франц.).

\*\* Уже давно была написана торжественная прогулка на Воробьевы горы, когда я опять увидался с ними. Это было 23 июня 1838 года. Господи! сколько прожито в эти десять лет. Пусть последнее свидание с ними станет рядом с первым. — *Примеч. Герцена.*



ВИД НА МОСКВУ

Литография Энгельмана с рисунка А. Кадоля, 1825 г.

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Весьма немногие знают этот лабиринт проселочных дорог, пересекающихся, узеньких, грязных, грязных, которые окружают Москву... Город был в версте, или — много — в двух... Шатом въезжали мы по совершенно непроходимой дороге в гору. («О себе»)

Девичий монастырь и Лужники — нижняя ступенька Воробьевых гор... Шагом въезжали мы по совершенно непроезжаемой дороге в гору. Я не узнал ее, потому что никогда не подъезжал с этой стороны. Колокольня Девичьего монастыря указала, что это именно Воробьевы горы. Их я не мог, не должен был миновать, проехать подле, не посетивши места закладки двух храмов, храма во имя Спасителя и храма во имя любви, которую проповедовал Спаситель.

«Стой!» — закричал я ямщику, подал руку Наташе и пошел на святое место.

Дождь не унимался, мы скользили по глине; ветер дул прямо в лицо. Чувство, наполнявшее мою душу, было то, с которым мы приближаемся к могиле друга, к единственному, осязаемому, видимому знаку прошедшей жизни, некогда близкой вам. Вот тропинка, по которой так часто восходили мы; вот Москва-река, опоясавшая гору, она тогда отделяла нас от толпы; она была нашим Гангесом, очищающим нас перед восходом на гору. Наше посещение носило печать чего-то литургического, важнотайственного и священного.

— Тут, бывало, стояли мы, — сказал я Наташе и снял с благоговением шляпу.

Лет пять не видал я горы. В эти пять лет видел я один раз мельком, на минуту, друга, и теперь явился один. Ник, где же ты? зачем тебя здесь нет! Какую радостную слезу пролил бы ты. Я вспомнил наши клятвы, я исповедовался на этом месте, где они были произнесены полуребьяческими устами. Нет, не изменился я, ни самое счастье не изменило меня. Я только пошел дальше, поднялся в более обширную сферу духа; но любовь не иссякла, но частная жизнь не затмила универсальной. Многие мечты погибли, но я с ними не схоронил всех надежд своих.

Но как переменилась гора! Где то торжественное солнце, тот город-исполни, то ликование света, воздуха, растений? где каменный ковчег, в котором хранились зародыши храма? где место, благословенное царем благословенным, художником и народом, — место обета? Разбросанные камни лежали около ямы; дождь сеялся и ветер уродовал форму деревьев, которые едва могли стоять. Тяжелое чувство грусти теснилось в грудь от могильного вида и всплывало над восторгом. Я вспомнил художника-страдальца: на мою грудь склонял он, вдохновенный, главу свою, убеленную не летами, а горестями; из его уст слышал я его дивную жизнь, в которой ссечтались апофеоза художника с анафемой. И ему представились образы из этой поэмы, так живо и так ясно. Вот тот юноша с голубыми глазами, стоит рядом с ним и, вдохновенный творческою властью призвания, говорит: «Да будет он тут». Еще он безвестный, еще царь не знает его; но он знает себя, он утвердил уже свой проект тем чувством: «добр бо естъ», которым господь сопровождает свое творение. Для его храм совершен, он в этом уверен, как в своем существовании... Вот он высится перед ним, торжественный, крестообразный, увенчанный ротондой... Юноша видит свой храм, более того, он сам превращается в него. Его череп раздвинулся в гигантский купол колоссальной мыслью; иконы, статуи — это его фантазия; эти звуки меди — его песнь, песнь призыва и ликования; эти колоннады — его объятия; в этих капителях, барельефах и фресках — его плоть, его душа, тайна его бытия, — тайна, которую он сам иначе понять не мог, как выводя ее из целой горы, написав мрамором, гранитом и поставив в виду целого города.

Но вот идет царь великого народа смиренно богу отдать победу; тихо восходит он по излучистой тропинке, за ним его православный народ. Развеваются хоругви, раздаются псалмы; народ, рукою царя, идет положить первый камень будущего храма. Кто встречает царя? Юноша. Но уже не безвестный, уже славный и превознесенный. Он стоит светлый,

радостный и кладет второй камень и с трепетом и молитвою приступает к таинству создания. Счастлив юноша, в тебе узнали того, кого ты проявил в себе, и склонились перед тобой. Ты жил для того, чтобы прославить его храмом, и тебя славят, ты — храм его.

Потом я перенесся в дальний край. Нужды материальные давят художника. Он унижен, сослан, очернен, обременен большим семейством, он беден; сын его души, его храм, убит во чреве матери, а на рождение его употребил он все силы свои... Живо представился он ему в своем заключении. Художник доселе живет в своем великом чертеже, в своем храме. Храм — это его объективы, его теодицея, исполнение всех мечтаний, выражение всех фантазий, ответ на все вопросы и... и он существует, — что за дело, на чертеже или в художнике. Он отделяет его части, — здесь прибавляет удар резца, там барельеф. Вспомнились мне его беседы: везде являлся он тем сильным, великим, который сознавал себя достойным создателем; вспомнил его детскую доверчивость, его гордость артиста, свежесть, юность чувства. Бедный страдалец! Несчастный? нет он не несчастен... одна толпа несчастна от внешнего. Силен человек, когда он отрвется от душных низких забот полуживотной жизни и поднимется в область духа. Он не может быть в ней несчастлив. Тяжелая грусть отлетела, просветлел взор мой, и я радостно оставил горы.

Возвращаюсь опять к 1829 году. После их прогулки с Ником, они сделались неразлучны. Светлые дни юношеских мечтаний, светлые дни симпатии! Они чертили колоссальные планы, они верили в исполнение их со всей восторженностью первой любви, они много занимались, готовя себя для апостольства. Они были счастливы, а недели и месяцы летели. Иногда Ник уезжал в деревню или на дачу, тогда они беспрестанно переписывались. «Жаль, что эти письма не сохранились, — говорит Саша. — Любопытно бы было их сравнить с теми письмами, которые я писал к Темире в 1825 и в 1827 году. Любопытно бы было взглянуть, как росла душа, как и что изменилось в ней; взвесить в тех и других долю ребенка и долю будущего человека, постепенное исчезновение одной доли и постепенное возрастание другой». Письма их и разговоры были наполнены политическими идеями, пророчествами, выписками из читанного, дружбою и ребяческими выходками. Помню, как он, побеждая большие затруднения, посылал своего камердинера в Куцево с записками следующего содержания:

«Друг! в нескольких выражениях твоего письма видно самолюбие, даже больше — жажда власти, остерегись! О, неужели я, как Макс, должен буду, любя тебя, тебя покинуть — и ты разлюбишь меня, твоего Рафаила» etc.

А он отвечал:

«Агатон! будь ты не Максом, а самим Веррино, ежели я сделаюсь Флеско, и я благословляю кинжал, который лишит меня жизни, да твоею рукою буду я наказан» etc.

Это не были подысканные фразы, натяжки; нет, они преоткровенно писали друг другу такие кинжальные уверения в дружбе.

Никогда ни разногласия, ни спора не было между ними, и при всем этом их характеры были совершенно не сходны, даже противоположны. Ник — флегматический по сложению, без энергии по наружности, но глубоко чувствующий в душе, нежно-чувствительный, поэтический, вечно был задумчив, говорил мало, двигался еще меньше; от тех мест, от которых Саша приходил в шумный восторг, он молча отирал слезы. Впоследствии один очень умный человек, странно выражавшийся, сказал про них: «Герцен — это вечно деятельный европеец, живущий экспансивной жизнью; он принимает идеи, чтобы, уяснив, развил их, разбрасывать. Огарев — это квиетическая Азия, в душе которой почил глубокая мысль, еще не

ясная ей самой». Много истины под кудрявой фразой Морошкина. И так они, видимо, различались характерами. Высшее тождество душ равняло их. Противоположности в характере еще больше сближали. Они только вместе выражали полное. Ника — фантазия, глубокое чувство религиозности и поэзия; Саши — мысль, деятельность и практичность. Разделите их, и каждый потеряет долю души, существенную и необходимую.

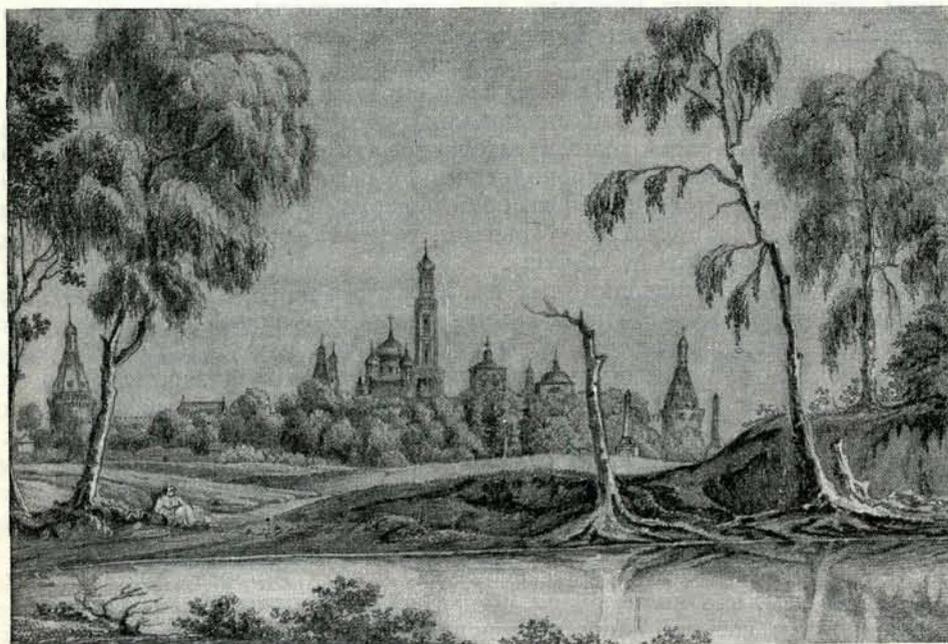
### «УНИВЕРСИТЕТ»

Первая тетрадь повести «О себе», посланная с Кетчером в марте 1838 г. из Владимира в Москву, заканчивалась главами «Деревня» и «ПроPILEИ». Некоторое представление об их содержании дает глава вторая «Записок одного молодого человека» — «Юность». Заключительные ее страницы рассказывают о впечатлениях, вынесенных Герценом летом, накануне поступления в университет (то есть в 1829 г.), от жизни в деревне: «...В деревне я сделал знакомство, достойное сделанного в Москве, — я в первый раз после ребячества явился лицом к лицу с природой, и ее выразительные черты сделались понятны для меня» (изд. АН, т. I, 1954, стр. 282). Заканчивается глава кратким рассказом о возвращении глубокой осенью в Москву: «Так доехал я чрез Драгомиловский мост до окончания первой части моей юности. Отсюда начинается новая жизнь, жизнь аудитории, жизнь студента; отселе не пустынные четыре стены родительского дома, а семья трехсоголовая, шумная и неутомная...» (там же, стр. 283). Первая же часть этой главы посвящена лирическим размышлениям «о светлых днях юношеских мечтаний», протекавших под знаком пламенного увлечения Шиллером, тема которого здесь главенствует. Если мы вспомним, что в письме к невесте от 19 января 1838 г. Герцен объяснил заглавие «ПроPILEИ»: «У меня так названо вступление в юношество» — и при этом добавлял: «Ты увидишь из „ПроPILEИ“, что был для меня Шиллер» (II, 27—28), — то мы должны прийти к выводу, что эта часть главы «Записок» восходит к «ПроPILEЯМ» повести «О себе».

В книге Пассек за рассмотренной выше главой, посвященной истории дружбы с Ником и клятвы на Воробьевых горах, следует глава XVII «Васильевское», в которой рассказывается о лете 1829 г., проведенном ею с Сашей в деревне (II, т. I, стр. 270—282). Бытовые эпизоды в этой главе (сборы, день отъезда, обед в Перхушково, описание дома в Васильевском, посещение Д. П. Голохвастова в Покровском и др.) переплетаются с лирическими эпизодами — чтение «Философских писем» Шиллера, радость, пережитая во время утреннего катанья с Сашей на лодке, светлое впечатление от одной из прогулок в предзакатные часы. В этой главе, написанной очень живо, богатой описательными и жанровыми деталями, насыщенной глубоким лиризмом, чувствуются местами отблески герценовского стиля. Можно думать, что и при работе над ней Пассек обращалась к подлинному тексту Герцена. Но она не сделала никаких указаний или намеков на заимствованный характер каких-либо эпизодов этой главы. Ни рукопись, ни корректура, в которых можно было бы надеяться найти такие указания, не сохранились. Ввиду сказанного мы воздерживаемся от включения каких-либо частей главы «Васильевское» в «реконструируемый» текст повести «О себе».

По порядку описываемых событий вторая часть повести «О себе» должна была открываться главой VII «Студент». Но эта глава давалась Герцену трудней, и он приступил к ней несколько позднее, когда уже были написаны VIII и IX главы. 21 марта 1838 г. он писал Н. А. Захарьиной: «Теперь еще написаны VIII глава „Ландыш“, IX глава „Αύχη“ <...> начал, было, VII „Студент“, но вяло. А теми доволен» (II, 132). Спустя десять дней, 1 апреля, Герцен извещал свою невесту: «Ну, вот и переписана тетрадь

„О себе“, и кончена почти, не достает двух отделений: „Университет“ и „Молодежь“. Но этих я не могу теперь писать, для этого мне надо быть очень спокойну и веселу, чтоб игривое воспоминание беззаботных лет всплыло...» (II, 147). Герцен имел в виду здесь те тревоги и волнения, которые были связаны с подготовкой и осуществлением плана женитьбы на Н. А. Захарьиной. «Два месяца <то есть март и апрель. — А. Д.> прошли в непрерывных хлопотах», — писал он в «Былом и думах» (XII, 462). 9 мая Наталья Александровна была освобождена из плена у княгини Хованской, и оба они уехали во Владимир. Переписка между ними, которая до последнего времени являлась единственным источником,



#### СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ

Рисунок К. И. Рабуса, 1843 г.  
Третьяковская галерея, Москва

отразившим процесс работы над повестью «О себе», естественно, прекратилась. Исследователи творчества Герцена обычно считали на этом основании, что работа над повестью «О себе» после марта не возобновлялась (см., например, названную выше книгу В. А. Путинцева, стр. 27). Между тем, трудно предположить, чтобы Герцен не вернулся к окончанию своей повести после того, как в его жизни наступила новая, радостная и спокойная полоса.

Новые данные по этому вопросу, полностью подтверждающие наше предположение, содержатся в недавно поступивших в распоряжение «Литературного наследства» из США письмах Герцена к его московским друзьям Астраковым (публикуются Е. Л. Рудницкой в томе 64 «Лит. наследства»).

В мае 1838 г. Герцен писал Н. И. Астракову: «Пришли с ним <Сазоновым. — А. Д.> все писанное, оставшееся от Наташи, и главное: „О себе“. Я теперь долго писать не буду, грешно; но зато какую я силу наберу в моем счастье, тут-то я окрепну...» И в последующие месяцы Герцен неоднократно повторяет свою просьбу, обращенную то к Астраковым,

то к Кетчеру, подчеркивая каждый раз, что ему важнее всего получить «писанную книгу», то есть рукопись «О себе». До конца года бумаги так и не были отосланы во Владимир. 31 декабря 1838 г. Герцен, потерявший надежду на возможность воспользоваться услугой Сазонова, писал Астракову: «Буде увидишься с Кетчером, скажи ему, что скоро будет оказия, по которой он может мне переслать все, что хочет, да книгу мою писанную, ежели и не хочет, пусть отдаст Егору Ивановичу».

Долгожданные бумаги были, очевидно, в ближайшие дни доставлены во Владимир. И тотчас же вслед за этим возобновилась творческая работа Герцена, прерванная событиями, связанными с его женитьбой. Уже 14 января 1839 г. он сообщал Астракову: «Первая часть „Лициния“ готова, я опять принялся за свою биографию и довольно удачно, написал „Университет“ и „Холера“. Теперь пишу „Вятка“. Смертельно хочется печататься — или уже подождать освобождения?»

Этим сообщением впервые со всей определенностью устанавливается факт, что Герцен в 1839 г. продолжал работу над повестью «О себе» и что в изложении своей ранней автобиографии он ввел тему ссылки, расширив таким образом ее хронологические рамки, им самим прежде определенные. Кроме того, перечень глав повести «О себе», известный нам из писем Герцена к Н. А. Захарьиной, теперь пополняется еще двумя названиями: «Холера» и «Вятка».

Каково же соотношение этих новых глав с ранее известными? Написанные в январе 1839 г. главы «Университет» и «Холера» заменили собою, очевидно, фигурировавшую в ранних письмах главу «Студент», которая писалась «вяло» и потому не была своевременно завершена. Но при этом неясной остается судьба главы «Молодежь», которая совсем не упоминается в цитированном выше письме к Астракову. Возможно, что главы «Университет» и «Холера» вобрали в себя материал и этой главы, но не исключено, что глава «Молодежь», после выделения из нее темы «холеры», все же сохранила свое самостоятельное место, но была написана после 14 января 1839 г.

Трудность окончательного решения этого вопроса увеличивается в связи с тем, что мы не знаем, как в первоначальном замысле Герцена материал его воспоминаний о студенческих годах распределялся между главами «Университет» и «Молодежь». Мы можем только предположительно думать, что к главе «Молодежь» могли быть отнесены воспоминания об идеальных исканиях и общественных настроениях Герцена и его друзей — то есть о той части их жизни, которая проходила за стенами университетских аудиторий. Если принять эти соображения, то с главой «Молодежь» нужно связать только давно уже признанный герценовским рассказ о «студенческой оргии» и о «соборной поездке» в Архангельское. Все же остальные фрагменты, выявленные нами в воспоминаниях Пассек и относящиеся к университетским годам, естественно укладываются в рамки глав «Университет» — от момента поступления и до окончания, — и «Холера».

Интересующий нас материал мы сразу же обнаруживаем в главе XVIII «Университет» (характерно это прямое заимствование герценовского заглавия). Она следует непосредственно за двумя уже рассмотренными нами главами и как бы является их продолжением. В этом мы видим еще один аргумент, подкрепляющий наши наблюдения: принявшись за включение в текст «брошенных листков», Пассек, естественно, продолжала эту часть своей работы без перерыва, пока основной материал герценовской рукописи не был ею исчерпан.

Глава «Университет» открывается у Пассек сжатым рассказом о поступлении Саши в университет и о первом посещении лекций в сопровождении Зонненберга и камердинера Петра Федоровича. Ни в чем не проти-

вореча изложению этого эпизода в «Былом и думах», Пассек дает ряд отсутствующих там детальных живых зарисовок образа самого Герцена, глаза которого «горели радостью освобождения пленника», Зонненберга, «проникнутого достоинством ментора», Петра Федоровича, который «передружился со всеми университетскими солдатами» и «знал, по каким дням какие лекции читаются». Естественно предположить, что в этих набросках в изложение Пассек вмонтированы отдельные элементы из воспоминаний Герцена о его вступлении в университет. Но дальше она уже более открыто прибегает к рассказу Герцена: «Однажды Саша, будучи уже женатым на Наташе, при мне вместе с Вадимом Пассеком вспоминал о временах их студенческой жизни». После этого идет несколько строк, заключенных в кавычки, — общая оценка этой жизни. Далее — наталкивающая на продолжение рассказа просьба Наташи и, снова в кавычках, слова Саши о том, как трудно оживить в рассказе эту жизнь. Ниже, частью в кавычках, частью без них, приводится остроумная реплика Саши по поводу портного, украсившего своей вывеской окно комнаты, которую когда-то занимал Ник, подробные характеристики профессоров, рассказ о маловской истории, об аресте, ночных пирушках в карцере. После заключительного эпизода — чтение Сашей лекции в присутствии Гумбольдта и Уварова — у Пассек идет строка точек — ее можно истолковать как сигнал перехода от герценовского текста к собственному изложению, которым и заканчивается глава (кстати, данный ею в этом окончании перечень ученых обществ при университете в журнальном тексте главы отсутствовал — еще одно подтверждение, что этот привесок к Герцену отношения не имеет).

Принадлежность Герцену большей части главы «Университет» кажется нам несомненной. Иначе пришлось бы предположить, что Пассек через сорок с лишним лет сохранила в своей памяти точные и конкретные характеристики профессоров, детали маловской истории, когда-то слышанные ею от Герцена. Этот малооправданный вариант, естественно, отпадает, и тогда остается сделать вывод, что единственным источником для данной главы могли быть только воспоминания, записанные самим Герценом. В печатных мемуарах Герцена это время или не освещено («Записки одного молодого человека») или описано иначе («Былое и думы»), чем в книге Пассек. Следовательно, перед нами текст из тех же «брошенных листов». Стоит отметить, что цензор, читавший в сентябре 1875 г. рукопись нескольких глав записок Пассек, куда входил и рассматриваемый нами сейчас материал, не сомневался в принадлежности его Герцену. В своем докладе С.-Петербургскому цензурному комитету он писал: «...Главное лицо в этих воспоминаниях, вокруг которого сгруппированы все события и которое придает особый интерес рассказу, есть товарищ молодости г-жи Пассек, сын ее дяди — Александр. Из его писем и заброшенных им листов приводятся целые выписки, напр., о холерном годе в Москве и о Московском университете в начале 30-х годов» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 3, 1875 г., ед. хр. 49, л. 3).

<1>

Однажды Саша, будучи уже женатым на Наташе, при мне вместе с Вадимом Пассеком вспоминал о временах их студенческой жизни. «Жизнь эта, — говорил один из них, — оставила у нас память одного продолжительного пира дружбы, пира идей, пира науки и мечтаний, непрерывного, торжественного, иногда бурного, иногда мрачного, разгульного, но никогда порочного». Наташа попросила их сделать нам полный очерк того периода их жизни. Саша отвечал, «что оживить это прошедшее время, сделать вполне понятным в рассказе, невозможно; чтобы вспомнить все

мечты, все увлечения, — продолжал он, — надобно очень многого не знать, очень многого не испытать, надобно не забыть бездну фактов, стереть с души бездну пыли, соскоблить пятна, заживить рубцы, осветить весь мир алым светом востока, всем предметам дать положительные тени, утреннюю свежесть и разительную новость. Мало того, надобно, чтобы друзья юности собрались вместе в той же комнате, обитой красными обоями, с золотыми полосками, перед тем же мраморным камином и в том же дыму от трубок.

— Да, — заметил Вадим, — никто из нас не забудет этой заветной комнатки. Когда, возвратясь в Москву, я ехал мимо того дома, в котором она находится, то был грустно поражен, увидавши вывеску портного над ее окном, а на вывеске красовались ножницы с раскрытым ртом, зовущие проходящих снять мерку. Мне было смертельно жаль и досадна эта профанация храма юности.

— Я уверен, — шутя сказал Саша, — что если существуют духовные миазмы, то этот портной шьет мечтательные фраки, энциклопедические жилеты и фантастические скюртуки; уверен, что его работники мечтают сделаться великими портными и пересоздать фасоны; уверен, что он сам «ein bügeleisener Held»\*, но не пойду к нему заказывать платья, чтобы не увидеть угога на месте бюстика Наполеона и мерки на месте Фауста, чтобы не увидеть его самого на месте Ника.

Вспоминая и перебирая эпоху студенческой жизни, они сделали из нее тот вывод, что все это прошедшее группируется около двух начал, составляющих сущность тогдашней жизни. Начала эти — наука и симпатия, остальное — обстановка, рамки, полувнешнее, полупостороннее.

В величественном храме науки индивидуальность Саши не могла проявиться ни особенно резко, ни особенно самобытно; он тут был учеником, — положим, хорошим учеником, но все-таки учеником. Зато товарищество представляло ему самое многостороннее поприще выразить все изгибы тогдашней души; тут была жизнь, совершенно свойственная и его нраву, и его фантазиям, и его убеждениям. В университете он встретил, и не мог не встретить, между попутчиками, плывшими, как и он, по морю человеческого ведения, людей, близких душе. Он страстно бросился в их объятия, и они страстно открыли их ему.

— На нашем факультете, — говорил нам Саша, — царил почти такой же беспорядок, как и в моем домашнем воспитании. Физико-математический факультет распадался по своему составу на два различные, вместе соединенные, отделения. Обе отрасли преподавались не полно; но так как математические науки шли лучше, то большая часть студентов занималась исключительно математикой, значительно умножая собою число занимающихся ею действительно по призванию. Первым — математика ничего не принесла, — заметил он. — кроме учительского звания по окончании курса; строгая метода ее может сделать пользу только хорошо организованной голове; посредственные люди не сумеют перенести этой методы в другие области ведения; для них мощные средства анализа и синтеза, геометрии и алгебры совершенно бесполезны.

— Кто были у вас и считались лучшими профессорами математики? — спросила Сашу его жена.

— Профессор *Щепкин*, читавший дифференциальные и интегральные счисления, был не без достоинств; он имел хороший дар изложения, в чем состоял недостаток у весьма знающего профессора *Первощикова*. Жаль только, что это был человек, мало следивший за движением науки. Высшую алгебру читал Ив. Ив. *Давыдов*, философ, филолог, историк, критик, латинист, эллинист и математик; в математике, к несчастью, мудрено отде-

\* «утюжный герой» (нем.).

льваться кудрявыми фразами, алгебра неумолима. Преподавание физических наук представляло разнохарактерный дивертисмент.

Во главе профессоров природоведения стоял в то время Михаил Григорьевич *Павлов*, человек, от природы одаренный сильной логикой и убедительною речью. Он своим преподаванием начал новую эпоху в жизни университета. В Германии Павлов сроднился с натур-философией, с многообъемлющими взглядами на науку и в особенности с ее динамической физикой. Он открыл студентам сокровищницу германского мышления и направил их ум на несравненно высший способ исследования и познания природы, нежели тот, которым они могли почерпнуть что-нибудь в науке из преподавания до Павлова; но, что еще важнее, Павлов своей методой



ВИД БОЛЬШОЙ УЛИЦЫ ОТ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ ВО ВЛАДИМИРЕ. СПРАВА (ПЕРВЫЙ) ДОМ, В КОТОРОМ В 1838—1839 ГГ. ЖИЛ ГЕРЦЕН

Фотография В. Кукушкина, 1860—1870-е гг.

Владимирский краеведческий музей

навел на самую философию. Вследствие этого многие принялись за Шеллинга и за Окена, и с тех пор московское юношество стало все больше и больше заниматься философией, заниматься отчетливо и успешно. Павлову принадлежит честь начала и споспешествования развитию философии в Московском университете.

Когда Саша вступил в университет, *Павлов* был в полном блеске своей славы. Польза его лекций была существенная, воззрение натур-философии уяснялось, взгляд становился шире, мышление привыкало к логической форме, методу Павлова стали применять к другим отраслям естествознания, они оживились, сочленились в одно целое, органическое, лишаась своего странно-разбросанного характера, в котором являлись у атомистов.

— Павлову вторил,— продолжал Саша,— один *Максимович*, читавший органографию растений, остальные профессора естественных наук с ожесточением пользовались каждым случаем сострить над натур-философией и бросить смешное на преподавание физики. С своей стороны и Павлов не оставался в долгу и платил им с процентами и рекамбиями. Таким

образом преподавание на физико-математическом отделении было чисто полемическое. На эти полемические лекции студенты стекались со всех отделений. Разумеется, я ратовал под знаменами «*idealistische Lehre*»\* и резался с нападавшими профессорами.

К числу профессоров, нападавших на Павлова, принадлежал и *Фишер-фон-Вальдгейм*, известный своей ученостью всей Европе. Профессора Московского университета начала 1830-х годов представляли два стана: один — из немцев, другой — из не-немцев. В числе первых были люди ученые и кроме Фишера — Лодер, Гильдебрандт и, пожалуй, Гейм. Они отличались незнанием русского языка и нежеланием его знать, равнодушием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и множеством крестов, которых никогда с себя не снимали.

Вскоре Саша занял первое место в аудитории по естественным наукам и последнее в обществе естествоиспытателей, где считался *élève de la société*\*\* . Мало-помалу он сделался студентом с весом и шагнул в высшую аристократию аудитории. Занявши место на вершине зеленых талантов и разделяя его с весьма немногими, он, еще отчасти ребенок, видел в этом сбывающиеся мечты о славе, как вдруг одно обстоятельство поставило его еще выше.

Для того, чтобы рассказать это обстоятельство, надобно, вздохнувши, признаться, что в то время некоторые из студентов держали себя с таким недостатком самодостиинства относительно профессоров, что некоторые профессора позволяли себе бранить целую аудиторию самыми дерзкими выражениями. Наступала пора окончить этого рода неприятности.

Лета 1832-го, весной, студенты политического отделения, долго перенося грубости одного из профессоров, решились публично показать ему свое неудовольствие: при первой дерзости освистать его и выгнать из аудитории.

Приготовивши такой детский праздник, они кликнули клич в разные факультеты. Само собой разумеется, на зов все явились и не остались праздными зрителями. Детский праздник был весел до бесконечности. Профессор, по привычке, не замедлил сказать дерзость, и его изгнали не только из аудитории, но и с университетского двора.

Когда же это событие дошло до сведения императора Николая Павловича, он приказал этому профессору оставить университет.

На другой день вышеупомянутого детского праздника, в дом к Ивану Алексеичу явился, не совсем в трезвом виде, университетский солдат (Саша уверял, что университетские солдаты никогда не бывают трезвы, оттого, что чад юных мечтателей переходит в их головы); он принес Саше записку от ректора, с приглашением явиться к нему в пять часов после обеда. Саша был уверен, что ректор приглашает его не за тем, чтобы свистать и топтать, и потому *il se hâtait lentement*\*\*\*; однако, не теряя бодрости, отправился, нарочно опоздавши часом.

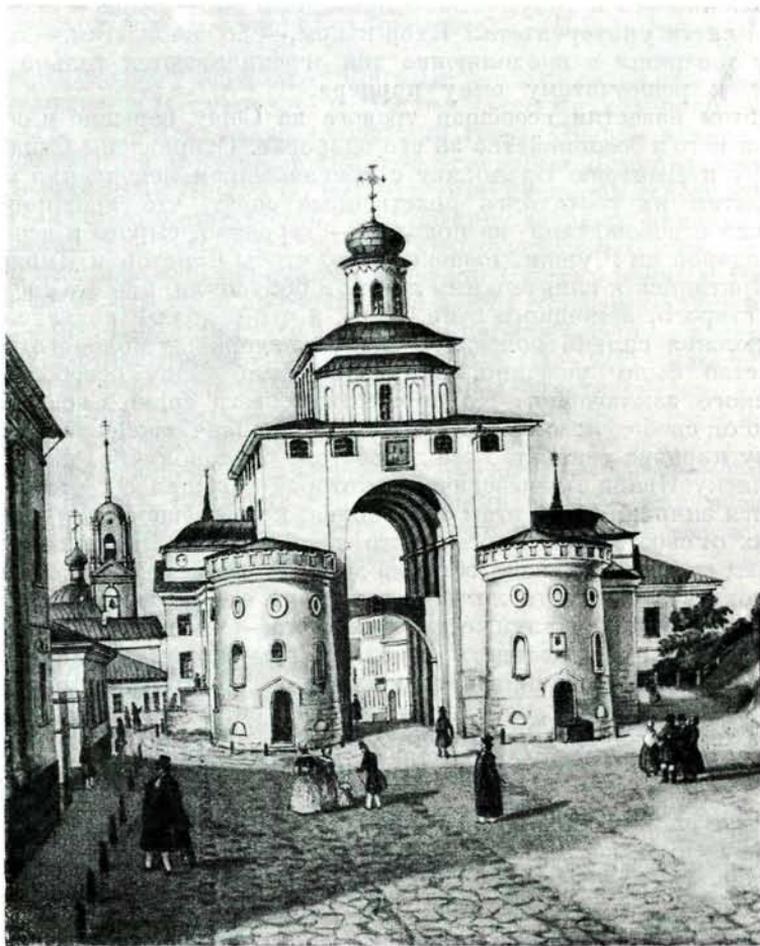
Возвратясь домой, Саша прежде всего описал нам наружность ректора. «Вид его, — говорил он, — до того теократически назидателен, что один студент из семинаристов, пришедши к нему за табелью, подошел под благословение и постоянно называл его „ваше преподобие, отец ректор“». Потом рассказал, что ректор начал беседу с ним выговором, продолжавшимся добрых полчаса, сказанным, — добавил он шутливо, — очень дурным слогом, тем самым, которым написана его физика. Затем следовал фирман — написать, что происходило на шумной лекции, что делал он

\* «идеалистического учения» (нем.).

\*\* воспитанником общества (франц.).

\*\*\* медленно поспешал (франц.).

и что делали другие, и что, вероятно для поощрения, ректор заключил речь тем, что никак не теряет надежды, что Сашу и подобных ему карбонарий, пользуясь сей верной оказией, отдадут в солдаты. Имея такую перспективу, ежели не блестящую обстоятельствами, то блестящую пуговицами, он счел за благо от всего отпереться, сказав, что на лекции был, желая употребить на пользу свободный час, что шум слышал, но



ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА ВО ВЛАДИМИРЕ. СКВОЗЬ ВОРОТА ВИДЕН ДОМ  
(ПЕРВЫЙ СПРАВА), В КОТОРОМ В 1838—1839 ГГ. ЖИЛ ГЕРЦЕН

Раскрашенная литография, 1850-е гг.

Владимирский краеведческий музей

кто, как, для чего шумел — знать не знает. Ректор взбесился, — говорил Саша, — разругал девчонку, подававшую в это время чай, и велел ему явиться на другой день в совет.

В совет явилось подсудимых четверо, Саша пятый. На допросе ничего не узнали и поехали к попечителю; там, обсудивши, решили всех пятерых посадить на неделю в карцер, на хлеб и на воду.

В семействе Саши все были встревожены и на следующий день с волнением ожидали его возвращения с лекции, но вместо его явился экипаж

с одним Петром Федоровичем. Он подал Ивану Алексеевичу записку от Саши, в которой тот извещал, что его посадили в карцер на неделю.

Вслед за Петром Федоровичем приехал Ник и сообщил подробности ареста.

— Саша,— говорил он,— спокойно явился в аудиторию и встречен был товарищами с громким приветом. Среди лекции пришел за ним в аудиторию унтер-офицер; толпа студентов, в том числе и он, Ник, встала с лавок, окружила его и триумфально проводила до карпера — род подвала в нижней части университета. Вход к ним,— добавил Ник,— запрещен, и потому товарищи в продолжение дня ограничиваются только тем, что подходят к решетчатому окну карцера.

При этом известии всеобщая тревога за Сашу перешла в огорчение, досаду на него и беспокойство за его здоровье. Отправлены были записки к Сенатору и Дмитрию Павловичу с приглашением немедленно приехать. По прибытии их составилась родственная совет, что предпринять для скорейшего освобождения из подвала,— вероятно, сырого и нечистого,— слабого здоровьем Шушки. Решено было, чтобы Сенатор и Дмитрий Павлович обратились к влиятельным лицам и объяснили, как это событие расстроило старого, немощного отца Саши, и что неделя в подвале на хлебе и воде должна сильно повредить слабому здоровью молодого человека. Ходатайство было успешно, приказано было Сашу освободить после трехдневного заключения. По прошествии этого срока Саше объявлено было, что он свободен; вместе с тем Петр Федорович, ежедневно являвшийся к окну карпера узнавать, все ли обстоит благополучно, принес ему из дома записку Ивана Алексеевича, в которой сообщалось, что за ним отправляется экипаж. Саша этим оскорбился, ко всеобщему неудовольствию домашних от своего преждевременного освобождения отказался и присланные за ним дрожки отправил обратно домой, с запиской, что он не желает воспользоваться тем, чего лишены товарищи его по заключению.

— Сидите себе, пожалуй, если есть охота,— сказал ему ректор на его отказ и оставил его досидеть неделю. Саша понимал, какую глаорию\* разольет на него это семидневное заключение, и потому, оставляя мысль о будущих репримандах, с самоотвержением оставался в подвале.

Когда он появился домой, нельзя сказать, чтобы его приняли с восхищением, несмотря на то, что он предстал цветущий здоровьем, улыбающийся.

По выслушании продолжительной нотации и реприманд на половину отца, Саша спустился вниз на половину матери и там рассказал нам до подробности, как провел время в карцере; из его рассказа мы узнали, что он не был лишен ни приятного общества, ни хорошего продовольствия.

— Как только наступала ночь,— рассказывал он,— Ник и еще четверо товарищей, с помощью четвертаков и полтинников, являлись к нам; у кого в кармане ликер аих quatre fruits\*\*, у кого паштет, у кого рябчики, у кого под шинелью бутылка клико. Разумеется, мы встречали с восторгом и друзей, и их съестные знаки дружбы. Свечей зажигать нам не позволялось. Опрокинувши стулья, мы делали около них юрту из шинелей, высекали огонь, зажигали принесенную свечу и ставили ее под стул таким образом, чтобы из окон нельзя было ее видеть, потом ложились на каменный пол, и начинался пир до позднего вечера, тут, кажется, и засыпали, а ночью опять праздник. И так — все семь дней.

К числу замечательных событий в продолжение пребывания Саши в университете принадлежит посещение Московского университета Гум-

\* славу (лат. «gloria»).

\*\* четырех плодов (франц.)

больством и министром народного просвещения Уваровым. При министре велено было избрать на каждом факультете по студенту, которые публично прочитали бы по лекции из какого-нибудь предмета своего факультета. Саша избран был по части естественных наук и первый раз должен был выйти публично на сцену, притом при министре и московской аристократии. Самый предмет; о кристаллизации, дал ему возможность перейти от Рашеде-Пилля и Гайю к философским воззрениям; лекция его шла превосходно. Министр подвел его к генерал-губернатору... (П., т. I, стр. 285—292)

К университетскому периоду в книге Пассек относится еще один отрывок, принадлежащий Герцену, — о Москве во время холерной эпидемии (П., т. I, стр. 315—316; глава «Холёрный год»). Он дан в виде письма: «Саша писал мне из Москвы...» На этом основании Лемке напечатал его как письмо Герцена к Пассек (I, 60—61). В журнальном тексте этот отрывок отсутствовал. В самом тексте его не обнаруживается никаких элементов эпистолярной формы. Зная по многим примерам (см. ниже, стр. 38), что Пассек пользовалась формулой «писал мне Саша» в целях маскировки, мы можем высказать предположение, что и этот отрывок является частью повести «О себе». Напомним, что в «Былом и думах» рассказ о холере включен в главу, посвященную университету (XII, 120—124). Замечательные строки отрывка о Москве как народном городе близки к тем, которыми Герцен в «Былом и думах» заканчивает эпизод о холере, хотя и не совпадают с ними в точности.

Все эти соображения, подкрепленные признанием самого Герцена в письме к Астракову, приводят нас к твердому выводу, что печатаемый ниже фрагмент также принадлежит к повести «О себе», а именно к главе «Холера», написанной в январе 1839 г.

<2>

Саша писал мне из Москвы:

«Множество закоснелых московских жителей, лет двадцать не ездивших дальше Девичьего монастыря и Нескучного сада, еще до учреждения карантинных мер разъехались по деревням и городам; в числе их уехал Платон Богданыч Огарев и увез с собою Ника. Грустно было прощаться с другом -- грустнее обыкновенного; почему знать, возвратится ли он, почему знать, возвратившись, найдет ли он меня в живых. Один внутренний голос говорит сквозь грустные возгласы: „Увидимся“. Вообще холера страшила меня немного издали, но когда она явилась лицом к лицу в Москве, ходила по университетскому коридору, таскалась по улицам, ездила в каретах в больницы, а в фурах из больницы, наконец, когда страх прошел, уверенность в будущее поглотила меня совершенно.

Сначала суета, рассказы, все это занимало, потом надоело, скучно стало слушать одно и то же; кроме двух-трех родных, к нам почти никто не ездит, с товарищами видаюсь редко, зато гуляю часто, что-то тяжелое видно на улицах: холерные кареты, фуры, чернь, толкующая об отравках. Замечательно, что во все времена, во всей Европе простой народ во время заразных болезней не верил, что это эпидемия, а твердо был уверен, что его нарочно отравляют, так, как в голодные годы думают, что его нарочно морят с голоду.

Иногда в моих прогулках я доходил до заставы и долго смотрел на необыкновенное зрелище оцепления. Эти пикеты, расставленные по снежному валу, эти солдаты, лежащие вокруг разведенных огней, возы, приезжающие с одной стороны, возы, приезжающие с другой стороны, и все вместе — страшная рамка страшной болезни. Университет закрыт, весь медицинский факультет приглашен к участию в помощи несчастным забо-

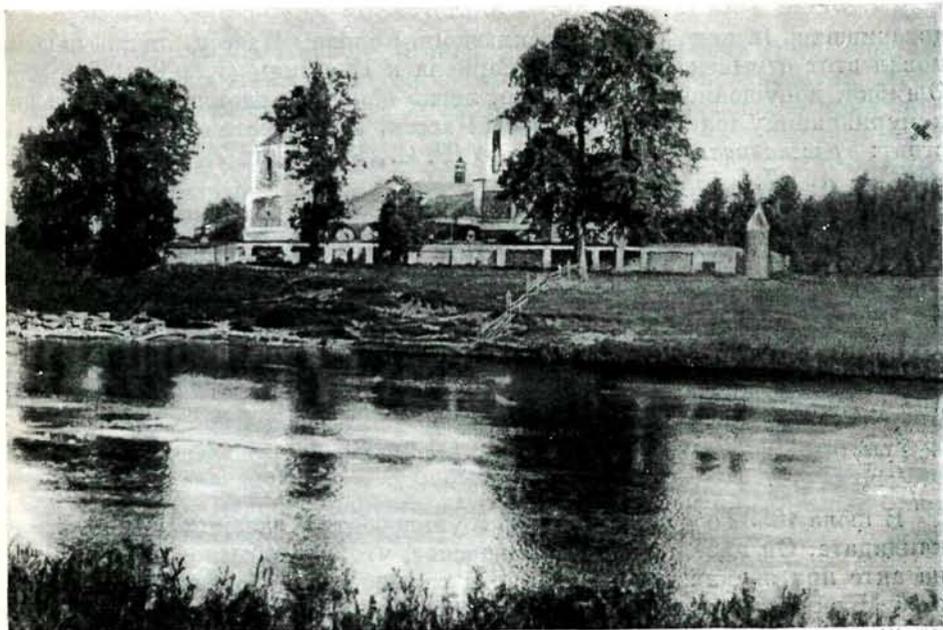
левающим в 20-ти вновь учрежденных больницах на пожертвования купечества с какой-то роскошью, с избытком удобства. Сверх медицинского факультета, юности других отделений предложили себя в эти больницы, расстанутся с мечтами о будущем, разрывают связи с обществом и семьями, дружатся с мыслью о смерти, прощаются с жизнью, и все это, чтобы помочь страждующим, чтобы помочь в бедствии. Вся Москва отзывается с горячим сочувствием. Москва всегда становится в уровень с обстоятельствами, когда над Россией гремит гроза, как в 1612 и в 1812 гг.; явилась холера, и народный город снова явился полный энергии и любви.

«Университетские» главы повести «О себе» заканчивались рассказом о «студенческой оргии» и о «соборной поездке» в Архангельское. Этот рассказ, вошедший в книгу Пассек в качестве самостоятельной главы, озаглавленной «Последний праздник дружбы» и завершающий первый том «Из дальних лет» (II, т. I, стр. 416—429), уже давно получил признание у герценоведов. Лемке ввел его как часть повести «О себе» (II, 163—175); под тем же заглавием, как единственный известный нам отрывок из этой повести, он вошел в последнее академическое издание сочинений Герцена (изд. АН, т. I, стр. 170—182). Ввиду этого мы не считаем нужным аргументировать принадлежность этой главы Герцену и перепечатывать ее в настоящей работе.

Второй том «Из дальних лет» открывается главой «Qual suor tradisti»\* (заглавие — слова из заключительной арии Нормы в опере Беллини «Норма» — заимствовано Пассек из «Былого и дум», гл. XXI). Начало главы повествует об окончании Сашей университета. На первых же страницах излагается содержание кандидатского сочинения Герцена, названного здесь «Историческое развитие Коперниковой системы» (II, т. II, стр. 5—6). Подлинный текст этого сочинения (точное заглавие: «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника») сохранился в авторизованной копии в университетском архиве и в настоящее время находится в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве. Лемке, впервые напечатавший это сочинение (I, 91—105), упоминает в комментарии, что содержание этого сочинения приведено у Пассек, и признает, что она в общем правильно излагает ход мыслей Герцена. Но каким образом Пассек могла дать верное изложение работы, посвященной сложной натур-философской теме? Если даже сделать маловероятное допущение, что Герцен знакомил кухню со своими мыслями, то все же остается загадкой, как женщина, далекая от проблем теоретического естествознания, могла так прочно усвоить эти мысли и логический ход их развития. Архивных розысков она не производила — следовательно, подлинного текста сочинения знать не могла. Таким образом, нам остается сделать сам собой напрашивающийся вывод: комментируемый текст принадлежит не Пассек, а Герцену — единственному человеку, который мог правильно восстановить содержание своего кандидатского сочинения, вспоминая в автобиографической повести «О себе» об этом знаменательном моменте своей жизни.

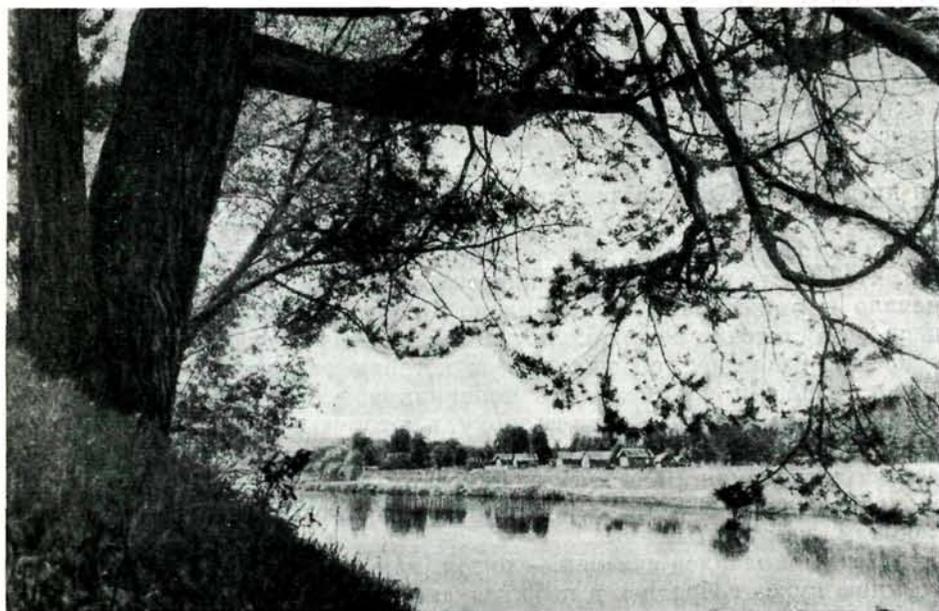
Дальнейший рассказ об окончании университета представлен у Пассек в виде выдержек из письма Герцена: «Когда окончился экзамен, — писал нам Саша...» (II, т. II, стр. 6). В «Былом и дум», касаясь этого эпизода, Герцен в сноске вспоминает о двух письмах (от 26 июня и 6 июля 1833 г.), в которых он делился своими переживаниями после экзамена и присуждения звания кандидата (XII, 141). Но это были письма к «кузине, бывшей тогда в деревне, с княгиней», то есть к Н. А. Захарьиной. О письме же к Пассекам на ту же тему нам ничего неизвестно. Тем не менее, Лемке,

\* «Какое сердце ты предал» (итал.).



ВАСИЛЬЕВСКОЕ. ЦЕРКОВЬ

Справа (сверху) знаком + отмечено место, где стоял старый господский дом И. А. Яковлева  
 Фотография 1900-х гг., сохранившаяся в «пражской коллекции»  
 Центральный архив литературы и искусства, Москва



ВАСИЛЬЕВСКОЕ

Фотография В. С. Молчанова, 1949 г.

Литературный музей, Москва

«Я мало видел мест изящнее Васильевского... На отлогой стороне село, перковь и старый господский дом. По другую сторону гора... Там построил мой отец новый дом. Вид из него обнимал верст пятнадцать кругом. Озера нив, колеблясь, стелились без конца... Леса разных цветов делали полукруглую раму, и через все — голубая тесьма Москвы-реки» («Былое и думы»)

доверившись (в виде редкого исключения) словам Пассек, также опубликовал этот отрывок как *письмо* Герцена к Пассекам (I, 109—110 и 526). Ошибка, допущенная здесь Лемке, легко обнаруживается при обращении к журнальному тексту той же главы Пассек. Там, вместо «*писал* нам Саша», стоит: «*рассказывал* нам Александр» (Р. С., 1876 г., № 7, стр. 527; курсив наш. — А. Д.).

Самое это колебание убеждает нас в том, что перед нами один из приемов, призванных маскировать прямые выписки из сочинений Герцена. Этот фрагмент должен быть исключен из раздела писем Герцена и помещен в ряду отрывков повести «О себе».

Что касается места этого фрагмента, то естественнее всего было бы думать, что вместе с рассказом об «оргии» и о поездке в Архангельское он входил в главу «Молодежь» и заканчивал собою раздел воспоминаний о годах студенчества.

⟨3⟩

В июле 1833 года Саша держал в университете экзамен и выдержал на кандидата. Он писал нам в Васильевское, что это событие было возведено на акте при звуках труб и литавр и торжественном собрании знаменитостей Москвы, в тридцать градусов жары, но что он лично при торжестве не присутствовал, потому что ему, вместо ожидаемой золотой медали за сочинение, дали серебряную. Профессор Перевощикова, задававший тему, нашел в сочинении Саши слишком много философии и слишком мало формул. Золотую медаль получил студент, который, говорили тогда, выписал свою диссертацию из астрономии Био и растянул на листах формулы.

Темой сочинения было *историческое развитие Коперниковой системы*; тут было можно развернуться. Саша взял Птолемею Альмагесту, Коперника и астрономию Бальи. Ему ярко представилась последовательность развития астрономии от бессвязных отдельных замечаний египтян до ее высокого состояния, в котором она является в руках Ньютона, и показал, как отдельные сведения и наблюдения, являясь из разных начал, умножаясь, соединились в Альмагесте, этом первом опыте как науки, и образовали из нее систематический сборник. Потом, еще не касаясь Коперника, он представил общее направление мысли в его великом веке; высшие требования на науку, нежели во времена Птолемея; несостоятельность астрономии относительно этих требований и гениальное провидение Коперника. Но, чтобы дать понятие, как уничтожилось древнее воззрение и как дало начало истинному гениальное слово Коперника, и оценить величие его дела, недостаточно было только указать на него, надобно было проследить самое это развитие; то Саша, доведя историю астрономии до теории тяготения, изложил всю важность коперниковой системы, показал необходимость Коперника именно в ту эпоху, в которую он жил; затем, показавши требования XVI века на науку, — старался раскрыть, насколько им отвечала астрономия Ньютоном и, наконец, Лапласом, и доказать, что наука развивается по законам в уровень с человечеством и по одним и тем же законам, как и мышление.

«Когда окончился экзамен, — писал нам Саша, — все студенты одного со мною курса собрались в небольшую кучку и ждали, не выйдет ли кто из совета, чтобы узнать свою участь, быть или не быть». Несмотря на то, что я казался веселым, на душе было тревожно. Я слышал, что Павлов, у которого я ревностно занимался, поставил мне 2 за то, что я раз возмутил против него аудиторию и два раза уговорил студентов нейти к нему на лекции, потому что Павлов, делая выговор какому-то студенту, сказал: «Стол и солдат у двери столько же меня понимают, как и амфитеатр». Из этого вышло дело, его разбирал Дмитрий Павлович Голохвастов. Он

вызвал к себе вместе Павлова и меня. Павлов не мог мне этого простить. На вопрос из динамики я дурно отвечал, поэтому предполагал, что и Перевощиков, верно, больше двух не поставит. Остальное шло прервосходно.

Когда вышел к студентам *Гейман*, все бросились к нему. «Поздравляю вас — вы кандидат», — сказал он мне. — «Еще кто? кто?» — «Такой-то и такой-то». Мне разом сделалось и весело, и грустно.

Когда я по чугунной лестнице университета выходил кандидатом и с тем вместе из школы на божий свет, тогда иначе взглянул на все. Чувство самобытности и совершеннолетия никогда не бывает так ярко, как в минуту окончания публичного воспитания. Испанские башмаки, шнуровавшие душу, лопаются, и фантазия гуляет на свободе. Нет более ни правил, ни направления извне. Это медовый месяц совершеннолетия.

С чувством собственного достоинства и достоинства кандидатской степени я явился домой и посвятил Нептуну мокрое платье, в котором плавал три года по схоластическому болоту на ловлю идей, то есть, говоря презренной прозой, подарил первогодичным студентам толстые тетради лекций, выучившие меня стенографии и разучившие писать удобочитаемо (П., т. II, стр. 5—7).

### «ЛАНДЫШ»

Вслед за VII главой «Студент» в повести «О себе» шла глава VIII — «Ландыш». Известно из воспоминаний Т. П. Пассек, что Герцен и «Гаэтана» (Людмила Пассек) тщательно скрывали свое чувство от нее и от ее мужа. Маловероятно, чтобы Герцен исповедовался перед нею в этом увлечении. И тем не менее Пассек рассказывает о нем в своей книге. Каковы же могли быть источники этого ее рассказа? С одной стороны, внешняя история этой любви могла быть памятна ей самой — они с Вадимом случайно проникли в тайну влюбленных. С другой стороны, она читала в «Былом и думах» (гл. XX «Сирота») лирические страницы, посвященные воспоминаниям о Гаэтане (XII, 428—430), и использовала их в своей книге (П., т. II, стр. 21—22). Но за вычетом этого остается в рассказе еще некоторая его часть, происхождение которой может быть объяснено только тем, что Пассек была знакома глава «Ландыш». Правда, образ ландыша намеком дан и в «Былом и думах» — в виде лирического вопроса: «Когда же ландыши зимуют?» Но название главы VIII дает возможность думать, что этот образ лежал в основе раннего герценовского рассказа. Любопытно отметить, что Пассек не раз вводит этот образ в свое изложение: «...Тут была девушка белокурая, прелестная, как весенний ландыш, — сговоренная невеста» (П., т. I, стр. 409); «Теперь уже ничего не мешало Саше упицаться любовью к своему ландышу...» (П., т. II, стр. 7).

В отрывках, приводимых ниже, отдельные фразы заключены в кавычки, со ссылкой на слова Саши, например: «В женском обществе, — говорил Саша, — я чувствую себя не на месте. Мой юмор и мои восторги испугали бы своим карбонаризмом» (П., т. I, стр. 408; в «Русской старине» было несколько полнее: «...не на месте, точно морской офицер на лошади...»); «Мне смертельно хотелось, — сказывал Саша, — чтобы у меня вырвали язык...» (П., т. I, стр. 410); «Спустя несколько лет, анализируя это, уже угаснувшее чувство, он, как бы в оправдание перед самим собой, говорил: «Любовь моя была односторонняя...» (П., т. II, стр. 7—8). Обратим внимание, что, ссылаясь несколько ниже на «Былое и думы», Пассек указывала: «Спустя много лет, Саша, вспоминая об этой любви, говорил...» (П., т. II, стр. 21). Не следует ли из этого заключить, что слова, сказанные «спустя несколько лет», были взяты из повести, писавшейся в 1838 г., то есть из повести «О себе», и что предыдущие высказывания Саши взяты оттуда же?

Эта догадка подкрепляется и стилем отрывков, который звучит совершенно по-герценовски, по крайней мере, местами. Надо думать, что в этих отрывках перед нами подлинный текст Герцена, но подвергшийся большей обработке и данный более фрагментарно, чем это мы наблюдали в предшествующих случаях.

#### ⟨1⟩

Со времени моего замужества Саша стал бывать у нас почти каждый день и так сблизился со всеми, что матушка смотрела на него, как на сына, а братья и сестры — как на брата. Холодное *вы* — заменилось задушевым *ты*.

Между тем, несмотря на дружеские отношения, на ученые и учебные занятия, несмотря на юношеские мечты, товарищество, вакханалии и оргии, у Саши оставалась еще неопределенная масса сил и чувств, незапятнанная, искавшая определиться, выступить наружу, — так велик избыток сил в юности. Эта неопределенная масса могла сплавиться только в чистый кристалл. Развилась потребность любви, ждала деву — Теклу, Беатрису Шиллера, и приготавливала ей в дар мечты юности, пламень двадцатилетнего сердца. Он уж любил ее неведомую. Трудно ли было после того в самом деле влюбиться?

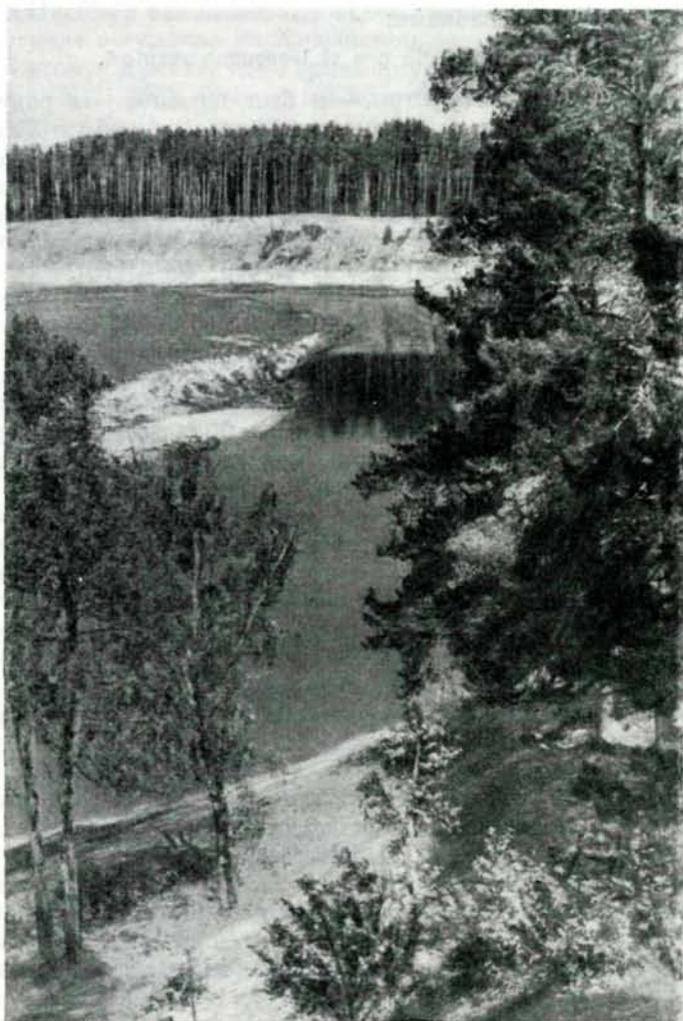
Правда, мало унди и сильфид залетали в затворничество их дома, мало Саша и выезжал — сначала по приказанию отца, потом по собственному желанию. Увлеченный наукой и мечтами в замкнутый круг университетского товарищества, он после моего замужества сделался совсем чужой в женском обществе. Ежели он не приносил в него грязных сапог, латинских слов, то из этого еще не следует, что он там был дома. Дома он был в студенческом кругу, председатель литературно-фантастическо-политических прений, за полувзломанными столами, заваленными книгами, фужерами, табачной золой. Тут кровь кипела, фантазия искрилась, бросала огонь на все стороны; поэзия, дружба, вино — все пенилось, все лилось через край. «В женском обществе, — говорил Саша, — я чувствую себя не на месте. Мой юмор и мои восторги испугали бы своим карбонаризмом». Сверх всего, голова у него была набита чистой математикой и математикой прикладной, зоологией и геогнозией, да вереница студенческих анекдотов летала и протеснялась между всем этим. В светском же обществе он видел всегда оскорбляющую его аристократию, и стеснительные формы той жизни заставляли его беситься, как бешеную молодую лошадь, которая чувствует на спине своей седло без седока. Была и еще причина, по которой он терпеть не мог светского общества: это были гонения Ивана Алексеевича за малейшее неисполнение каких-нибудь принятых обычаев. Ясно, что избранная его, вследствие всех этих условий, должна была явиться на другом театре, — путь к его сердцу лежал через либеральные идеи и через аудиторию. Так и случилось.

Около половины университетского курса он познакомился с семейством одного из своих товарищей. Большая редкость: весь этот круг с семействами друзей своих никогда не знакомился. Они приходили куда-нибудь на антресоли, валялись без сюртуков по диванам, между книг, тетрадей и пыли. Но в этом семействе было все то, что могло тогда привлечь его.

Семейство это охраняло несчастье...

В этой семье он встретил ту, которой принес юную любовь свою, облеченную в студенческие мечты... Тут не было ни аристократических форм жизни, ни богатства, а была восторженность, вера в себя, — тут была девушка белокурая, прелестная, как весенний ландыш — створенная невеста. Жених был в отсутствии — она грустила. Александр находил ее грусть беспредельно милою, поэтической, но такой грустью, которая

может утешиться слезою и стихом, исчезнуть от искреннего привета, и его-то она нашла в нем. Она долго удерживала слабое чувство к жениху из сердечного *point d'honneur* \*, — он это видел и тихо-тихо вынимал знамя из ее рук, а когда она перестала его удерживать, он был влюблен. Чтобы развлечь ее, он приносил ей новые книги, новые стихи, читал с ней вместе



ВАСИЛЬЕВСКОЕ. ВИД НА МОСКВУ РЕКУ

Фотография В. С. Молчанова, 1949 г.

Литературный музей, Москва

повести. Страшное дело — читать повести молоденькой, белокурой девушке и быть студентом, быть полувлюбленным. Как это опасно, всего лучше знает Дант. *Francesca da Rimini* рассказывала ему на том свете, как от книги перешли к поцелую, а от поцелуя — к кинжальному удару. До второго Саша не доходил, но впоследствии говорил нам, как ему хотелось оставить книгу, сказать слово любви и продолжать повесть

\* понятия о чести (франц.).

в действии; но что страх, ужасный страх держал в узде. Наконец, читая роман Сантина «Изувеченный» и кончив его, увлеченный, он спросил ее: «Хочешь быть моею Гаэтаной?» — «Не Гаэтаной, а Мариєю», — отвечала она. Он был в восторге. «Мне смертельно хотелось, — сказывал Саша, — чтобы у меня вырвали язык, отрубили руки, чтобы, подобно изувеченному, спрятаться в леса, мучиться поэмами и знаками передавать их Марии.

Я сжал ей руку с словами:

Quel giorno più non vi leggemmo avante\*.

— Да, — добавлял он грустно, — я был влюблен от роду в первый раз, si toutefois\*\* не замешивалась любовь в дружбу к Тане. Дружбе не было бы никакого дела до прически, но я поступаю по строгому смыслу X-го тома свода законов, определяющих совершеннолетие в двадцать один год. Сверх того, вскоре я получил на это право, как окончивший курс в одном из главных учебных заведений.

Они верили в свою любовь (II, т. I, стр. 408—410).

## ⟨2⟩

Теперь уже ничто не мешало Саше упиваться любовью к своему ландышу и любоваться им. Любовь его была искренна, как и все чувства юности. Он не делал себе анализа, пока страсть брала верх над всем, предложил Марии объявить семейству, что он просит ее руки, и, как только позволят обстоятельства, на ней женится.

— Если я объявлю о твоём предложении моему семейству — это тебя свяжет, — отвечала она; — я верю твоему благородству и — твоей любви... если же изменишься... да нет, это невозможно... сердце, как твое, изменять не может.

И он был уверен в неизменности своих чувств. Когда же, сверх чаяния, стал охладевать, то не мог устоять и не воспользоваться свободой, предоставленной ему этой благородной девушкой.

Спустя несколько лет, анализируя это, уже угаснувшее чувство, он, как бы в оправдание перед самим собою, говорил:

«Любовь моя была односторонняя и отчасти натянута, тогда я этого не замечал. Чиста была эта любовь, как майское ясное небо; светлой речкой катилась она по зеленому полю надежды, только иногда волновалась, вспоминая о молодом человеке, бывшем женихе, и тем, что он скоро был забыт. Я отыскивал в своей душе давно забытые страницы сентиментальности, принаряжал ими душу, отчасти это чувствовал и к сентиментальности присоединял все мои либеральные мечтания. Я говорил ей и говорил от души, что за осуществление моих политических убеждений пожертвую моей любовью, пожертвую ею, и вполне верил в истинность и неизменность этих слов, так, как и чувствовал» (II, т. II, стр. 7—8).

## «ANÁΓKH.»

Глава IX повести «О себе», названная Герценом греческим словом «Ανάγκη»\*\*\*, охватывала, как он писал невесте, «самую черную эпоху» его жизни — от 9 до 20 июля (II, 124), то есть от ареста Огарева до ареста его самого. Ничего, относящегося к первой части этой главы, мы у Пасек не находим: либо листки, содержавшие эту часть, не сохранились,

\* «В тот день мы больше не читали» (итал.) — стих из «Божественной комедии» Данте («Ад», гл. V).

\*\* если только (франц.).

\*\*\* «Рок» (греч.). — Это слово вырезал Клод Фролло (персонаж романа Гюго «Собор Парижской богородицы») на стене одной из башен собора.

либо она из осторожности опустила неудобную в цензурном смысле тему ареста Огарева. Но другое событие, отмеченное Герценом в качестве знаменательной вехи в его жизни, — рассказ о прогулке на кладбище, совершенной 20 июля, накануне ареста, — Пассек отразила в главе XXVI «Арест и симпатия» (II, т. II, стр. 28—30). 16 марта 1838 г. Герцен писал Н. А. Захарьиной: «Наконец, я написал 20 июля, ты похожа» (II, 126). Этот эпизод Пассек и использовала в своих воспоминаниях. Он начинается у нее с рассказа о гулянье на Ходыньском поле — деталь, которая отсутствует в «Былом и думах», где Герцен лишь коротко упомянул о встрече на кладбище (XII, 203). Отсюда мы получаем возможность точно установить, что местом этой памятной прогулки было Ваганьковское кладбище, расположенное в непосредственной близости к Ходынке.

Рассказ начинается у Пассек от третьего лица, но в нем уже легко распознаются характерные приметы стиля Герцена: «Народ, точно полипы всех видов, выползал из своих клеточек на Ходынку»; «Он стоял одиноко и смотрел на толпу, севшую, как туча саранчи, на поле, — на кареты, которые двигались между саранчи, как майские жуки, и был очень грустен». Второй абзац открывается кавычками и сопровождается указанием: «Говаривал впоследствии Александр»; дальше следует аналогичное примечание: «говорил он нам иногда». Содержание и манера изложения этих страниц не оставляют сомнения, что перед нами фрагмент повести Герцена.

⟨1⟩

19-го июля вся Москва ехала на скачку и гулянье, на Ходыньское поле. Народ, точно полипы всех видов, выползал из своих клеточек на Ходынку. Отправился туда и Саша, потому что существующему человеку нужно же быть где-нибудь. Занимала ли его скачка — может судить всякий. Он стоял одиноко и смотрел на толпу, севшую, как туча саранчи на поле, — на кареты, которые двигались между саранчи, как майские жуки, и был очень грустен. Встречавшиеся знакомые толковали и о скакунах и уходили. Он молил бога ни с кем не встретиться, отворачивался и вдруг увидал в карете Марью Степановну и Наташу. Они звали его. Когда он подошел, Наташа с участием сказала ему вполголоса: «Что ваш друг?» Саша был рад, что его видимое расстройство духа она отнесла к беспокойству о Нике, — и сочувственно взглянул на нее. Ему показалось в ее взоре что-то примиряющее. Он знал Наташу с ее поступления в дом княгини, звал кузиной, но близок не был никогда; напротив, больше удалялся, находил ее безжизненной, холодной, а теперь вдруг показалось ему, что он ее истинный друг.

«Я прежде судил о ней, — говаривал впоследствии Александр, — не понимая ее; огромное расстояние делило меня, студента-карбонара, от нее, религиозной, а между тем, мы шли бессознательно к одному и тому же миру, только с разных сторон. Религия чувством поднимает до созерцания тех истин, до которых разум доходит трудным путем, — сверх того, она кладет печать божественности на чело и не допускает короткости. Наташа мало знала свет и высшей целью жизни ставила стены монастыря, чтобы, как стих псалма, как аккорд оратории, горячей молитвой вознестись на небо».

«Я не мог вполне оценить ее прежде, — говорил он нам иногда, — увлеченный, рассеянный страстями, друзьями, науками, планами, оргиями, влюбленный. В этот же день, душа, взволнованная несчастием, взглянула драгом взглядом — взглядом магнетизма».

Скачка кончилась. Они шли пешком к кладбищу. Первое, что открылось, был позлащенный шпиз высокой колокольни приходской церкви Николая. Переполненная душа Саши вылилась черным словом.

— И эта колокольня ничего не говорит больше вашему сердцу? посмотрите, куда она указывает,— сказала Наташа: — там утешатся все скорби!

— Там,— отвечал Саша,— а здесь иметь душу, полную сил, желаний добра, и быть не в состоянии что-нибудь выполнить!

— Разве в этом *Ego* вина? От этого душа его не менее перед богом. Кто живет в боге, того оковать нельзя, сказал великий страдалец, снесший голову на плаху — апостол Павел.

В другое время Саша улыбнулся бы, а тут он не улыбнулся, однако возразил:

— Вы все ссылаетесь на тот свет, а здесь мой друг за любовь к людям гибнет неогцененный, неузнанный. Апостол Павел снес голову на плаху тогда, когда обратил целые страны в веру Христа.

— Неужели вы это говорите о рукоплесканиях? Сейчас мы видели, как их расточают лошадям. Одни поденщики требуют награды.

Александр показалось, что ему сделалось совестно, когда он вымерил расстояние ее воззрения от своего.

Они вошли на ниву Божию. Человеку бывает всегда не по себе при виде крестов, холодных памятников. В церкви стоял покойник. «Для него нет больше ни страстей, ни тайны, тело не делит его от бога», — сказала Наташа. На Сашу покойник сделал тяжелое впечатление, он опустил глаза и содрогнулся, думая, как и у него рука, живая, теплая, когда-нибудь скрестится с другой рукой на груди, и он уже не почувствует этого. На паперти стояли нищие старухи в лохмотьях, усердно молились богу и клали земные поклоны.

— Посмотрите,— сказал Саша, улыбаясь раздражительно: — вот настоящая вера: эти старушки дожили до 70-ти лет и не теряют надежды, что их молитвы услышатся.

— И вам смешно это доверие к богу? Все отрадное для простого народа — в молитве, ею он отрывается от гнетущей жизни, сама молитва ему наградой, а вы смеетесь. Вероятно, от того это, что вы одиноки теперь. Ах, если бы я могла хоть сколько-нибудь заменить вам его! Но какая разница он и я.

«Где же эта холодность,— думал Саша,— она не приближалась ко мне, пока считала себя ненужною, а теперь, видя меня страдающим, протянула мне руку. Она поняла, как это мне необходимо, и облегчила своим участием мое горе».

— Молитесь ли вы когда богу? — спросила Наташа.

— Не умею,— отвечал Александр.

— Молитесь, и ему будет легче, и ваша душа успокоится, и я буду молиться утром и вечером.

— Один найду ли молитву в груди? Я завидую вам, жалок, мал как жусь я сам себе, а давно ли с самодовольством студента блистал я...

На этом слове речь его была прервана Марьей Степановной; она сказала, что время ехать домой (П., т. II, стр. 28—30).

### «ЧАСОВ В ВОСЕМЬ НАВЕСТИЛ МЕНЯ...»

В той же главе «Арест и симпатия», в которой Пассек сохранила рассказ Герцена о 20 июля, содержатся и его воспоминания о свидании с Н. А. Захарьиной в Крутицах, об отправке в ссылку, о приключении при переправе через Волгу. Внезапно обрывая многоточием свой рассказ о приезде с мужем в село Спасское под Харьковом, Пассек следующим образом мотивирует приводимый ею ниже текст: «Чтобы пополнить мои воспоминания и помочь своей памяти, я часто прибегаю к моему дневнику»



и ко множеству бумаг, оставшихся после Вадима. Между моим дневником попадаются заметки и записки, набросанные некоторыми из наших друзей, относящиеся к периоду времени, о котором говорится в моих воспоминаниях, а так как они пополняют их, то я и приведу из них выписки (П., т. II, стр. 33). Это неоднократно применявшийся Пассек прием цензурной маскировки: ссылка на дневник и некие заметки и записки понадобилась ей, чтобы прикрыть заимствование из «брошенных листков» Герцена, занимающее шесть страниц ее книги.

Эти страницы признал принадлежащими Герцену еще Лемке. Но он не имел возможности определить их источник и потому поместил их, в соответствии со временем описанных здесь событий, под 1835 годом, придав им произвольное заглавие «Арест и высылка» (I, 180—186). В. А. Путинцев также причислил этот отрывок к числу «коротких и отрывочных, порой черновых» заметок Герцена, которые впоследствии могли бы быть использованы им «для его большой автобиографии тридцатых годов, условно называемой „О себе“» (указ. соч., стр. 23). В собрании сочинений Герцена, издаваемом Академией наук СССР, эти ошибки Лемке были исправлены: отрывок напечатан без заглавия и приурочен к 1838 г. (см. т. I, 1954, стр. 251—256 и 510). Но в комментарии к этому отрывку, названному по первым его словам: «Часов в восемь навестил меня...», с повестью «О себе» предположительно связывается только первая часть отрывка — Крутицкие казармы, свидание с Н. А. Захарьиной. Об остальных же двух разделах в комментариях сказано, что они «не могли относиться к этой автобиографической повести, так как она не охватывала ссылку» (изд. АН, т. I, стр. 510). Эта точка зрения прочно установилась в герценоведческой литературе.

Между тем, по этому вопросу может быть выдвинуто и другое мнение. Свидетельства самого Герцена в письмах к Н. А. Захарьиной о его работе над автобиографической повестью показывают, что хронологические границы повести, которые он устанавливал, с течением времени раздвигались. Так, в январе 1838 г. он предполагал закончить свое повествование 20-м июля (II, 22). Позднее же это намерение было изменено. 16 марта он извещал Н. А. Захарьину: «Наконец, я написал 20 июля, ты похожа» (II, 126), а уже на следующий день сообщал ей: «Писавши воспоминания о Кр<утицах> и 1834, я сегодня снова перечитал мои письма из Кр<утиц>...» (II, 128). Не вызывающее никаких сомнений заявление о том, что этот раздел был завершен, находим в письме от 1 апреля 1838 г.: «Крутицы, сентенция и 9 апреля — все есть, много сильных мест, вдохновенных...» (II, 147). Таким образом, можно не в виде предположения, а с полной уверенностью считать, что первый раздел отрывка «Часов в восемь навестил меня...» был органической частью повести «О себе».

В пользу этого утверждения может быть выдвинут еще один аргумент, до сих пор не использованный герценоведами-текстологами. Приведенная в первой части отрывка записка Герцена к Н. А. Захарьиной, написанная 10 апреля, перед отъездом в ссылку, почти точно, с небольшим изменением заключительной фразы («Не забуду никогда своей прелестной кухни» вместо «Изгнанник никогда не забудет свою прелестную сестру»), воспроизводит текст начала подлинной записки (см. I, 173). Заслуживает внимания, что на подлиннике рукой Герцена сделана приписка, датированная 3 апреля 1838 г., — свидетельство, что он перечитывал ее во время работы над автобиографией.

Вопрос о том, входили ли в состав той же повести «О себе» и другие два раздела, перешагнул ли Герцен в работе над автобиографией через знаменательный рубеж 9 апреля, теперь может быть также решен положительно. Еще 20 октября 1837 г., сообщая о работе над первой частью — «Дитя», Герцен писал невесте: «...Я дал себе слово не писать дольше 1835 года, —

это время и следующие 3 года только буду писать, когда увижу тебя во второй раз» (I, 486). После 9 мая 1838 г., когда началась их совместная жизнь во Владимире, Герцен мог приступить к выполнению этого своего намерения, но сделал он это, как мы уже знаем, не сразу, а больше чем через полгода. Только к этому времени он приобрел душевное равновесие, нужное для творческой работы. Присланная в начале января 1839 г. рукопись послужила толчком для возобновления и продолжения работы над автобиографией, которая охватила и тему вятской ссылки.

О том, что тема ссылки входила в широкий план Герцена, свидетельствует и содержание «Записок одного молодого человека», третья часть которых («Годы странствований») посвящена теме ссылки. Правда, эта часть писалась несколько позднее, в 1840—1841 гг. (см. соображения Я. Е. Эльсберга в кн.: А. И. Герцен. Повести и рассказы. М., 1934, стр. 488). Но ранние заготовки к этой теме могли быть написаны и в предшествующие годы, тем более, что, повидимому, резкого перерыва между работой над первым опытом автобиографии («О себе») и над «Записками одного молодого человека» у Герцена не было: вступление к «Запискам» датировано «весной 1838 г.». Правильное указание комментатора в академическом собрании сочинений Герцена, что содержание двух последних разделов отрывка «Часов в восемь навестил меня...» чрезвычайно близко («вплоть до текстуальных совпадений») к подлинному письму Герцена к Н. А. Захарьиной от 11 апреля 1837 г. (изд. АН, т. I, стр. 510), значительно подкрепляет наше предположение, поскольку мы знаем, что именно весной 1838 г. он перечитывал свои письма к невесте, которые оживляли в его творческом сознании пережитое.

Все сказанное убеждает нас в том, что все три раздела отрывка «Часов в восемь навестил меня...» входили в состав повести «О себе», почему в будущем она должна печататься не самостоятельно, а в качестве неотъемлемой части ранней автобиографии Герцена.

Поскольку текст этого отрывка уже давно введен в состав сочинений Герцена, мы считаем излишним перепечатывать его здесь.

### «СИМПАТИЯ»

Намечая в письме к Н. А. Захарьиной от 14 января 1838 г. план своей биографии («Со временем это будет целая книга»), Герцен ограничивал содержание первой части изложением событий, имевших место до 20 июля 1834 г.; во вторую часть должны были войти «Встречи», «I Maestri» и «Симпатия». Как известно, в «Симпатии», писавшейся с июля 1837 г. по январь 1838 г., Герцен рассказывал о своей вятской дружбе с Полиной Тромпетер. Черновой отрывок этого очерка, повидимому набросок его заключительной части, сохранился в рукописном отделе ИРЛИ. Его ввел в собрание сочинений Герцена еще Лемке (XXII, 149—150; см. также изд. АН, т. I, стр. 324—325). Мы имеем основания утверждать, что Пассек в составе «брошенных листов» располагала и очерком «Симпатия», отрывки из которого она также ввела в книгу «Из дальних лет».

XVI главу отдельного издания I тома «Из дальних лет» Пассек начинает рассказом о том, как они с Сашей читали «Wahlverwandschaft»\* Гёте, и передает затем их «прерванный разговор» по поводу прочитанного — на тему о «симпатии» и «антипатии», «любви» и «эгоизме», их роли в человеческой жизни. В конце этой части главы следует ссылка: «Я с юных лет, от времени до времени, писала свой дневник. Перебирая бумаги, мне

\* «Избирательное сродство» (нем.). Герцен переводит это название романа Гёте как «Выбор по сродству».

попались давно заброшенные листки дневника, и это давнопрошедшее утро прошло перед моим внутренним взором со всеми его впечатлениями» (П., т. I, стр. 254; то же в «Русской старине», 1876, № 4, стр. 818). Наш интерес к этому эпизоду неожиданно повышается, когда мы вспоминаем, что уже рассмотренный нами выше фрагмент о посещении Герцена Захарьиной в Крутицах («Часов в восемь навестил меня...») дан у Пассек тоже с ссылкой на ее мифический дневник. Естественно, является предположение, что и здесь перед нами отрывок, извлеченный из той же рукописи Герцена; и это находит подтверждение в сохранившихся корректурных листах этой главы (набор 1875 г.), где давалась прямая ссылка на «брошенные листки» Саши. В первой корректуре: «Прерванный разговор наш и отрывок из „Wahlverwandtschaft“ Саши вписал в „брошенные листки“ и добавил его новыми рассуждениями. Когда „брошенные листки“ попали мне в руки и я переписывала их, утро это прошло перед внутренним взором моим со всеми впечатлениями» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 1, № 18, л. 189). Во второй корректуре сохранен этот же текст (но без слов: «Когда „брошенные листки“ попали мне в руки»).

Свидетельство Пассек о том, что «прерванный разговор» взят ею из «брошенных листов», может быть подтверждено сопоставлением с письмами Герцена к Н. А. Захарьиной. В письме, помеченном «5 или 6 июля 1833», он писал: «И тут-то, тут-то иметь возле себя друга и ему перелить свои ощущения не через холодильник пера, а пламенной, каленой лавой речи» (I, 116). В тексте «прерванного разговора» мы встречаем ту же мысль, выраженную при помощи того же образа: «...перо — такой холодильник, через который редко проходит, не замерзнувши, истинное горячее чувство...». Если мы вспомним, что Герцен во время работы над ранней автобиографией (начало 1838 г.) перечитывал свои письма к невесте, которые она, по его настойчивым просьбам, пересылала во Владимир (см. II, 23, 77, 87), то приведенное повторение образа не только получит естественное объяснение, но и подкрепит наш тезис о принадлежности данного текста к «брошенным листкам». В конце «прерванного разговора» переданы мысли Саши о литературном труде: живое слово, песню он противопоставляет написанному пером, под которым истинное, горячее чувство замерзает; при мысли, что свой восторг, если он будет выражен в книге, придется продавать за 5 рублей ассигнациями, у него «всякая охота писать пропадает» (П., т. I, стр. 252—253). В письме к Н. А. Захарьиной от 9 февраля 1838 г. Герцен писал: «Да, я, было, и забыл сказать, что, не смотря на все мои выходки в „Симпатии“ против продажи книг, я начинаю *промышлять*: за отрывок из повести я взял подписку на „Сына отечества“...» (II, 75).

Мы имеем право сделать вывод, что «прерванный разговор» представляет собой отрывок из «Симпатии» — вероятнее всего лирико-философское введение к главной теме — теме дружбы с Полиной. Такое заключение, опирающееся на прямое указание самого Герцена, представляется нам более обоснованным, чем другое, которое может быть выдвинуто: что «прерванный разговор» входил в главу «Прошители», поскольку в нем сильно звучит шиллеровская тема, которую Герцен, как уже указано выше, развивал именно в «Прошителях».

«Прерванный разговор», вероятно, не вполне точно передан у Пассек: при сравнении четырех вариантов (обеих корректур, журнального текста и текста отдельного издания) обнаруживается, что Пассек меняла или вставляла отдельные слова, в диалоге производила некоторые перестановки, в частности реплики, первоначально вложенные в уста Саши, делала своими, и наоборот; местами она изменяла и последовательность рассказа. Но ход мыслей, все содержание отрывка остается неизменным во всех четырех вариантах. Наиболее близким к подлиннику является,

надо думать, текст первой корректуры, который мы и воспроизводим ниже (с исправлением нескольких очевидных опечаток).

Тема дружбы с Полиной представлена у Пассек в главе XXVII «Вятка» (П., т. II, стр. 44—49). Глава «Вятка» начинается описанием того, как Александр с помощью Зонненберга устроился на житье в Вятке. Как и в предыдущих случаях, Пассек прямо перенесла в свою книгу заглавие из рукописи Герцена, которое он сам привел в письме к Астракову («Теперь пишу „Вятка“»). Затем коротко упоминается об увлечении Александра «блондинкой» (П. П. Медведевой), после чего следуют заключенные в кавычки размышления Саши об этой любви. «Эта любовь, — говорил



ДОМ В ВЯТКЕ. ЗДЕСЬ В 1835—1837 гг. ЖИЛ ГЕРЦЕН

Фотография, 1955 г.

Литературный музей, Москва

нам Саша впоследствии, рассказывая о жизни своей в Вятке, — уяснила мне мои чувства к Наташе...». В дальнейшем подлинные куски текста Герцена также даются в кавычках и сопровождаются аналогичными указаниями: «говорил потом Саша, вспоминая о Наташе», «замечал Саша», «говорил Саша», «вспоминал о ней Саша». Между ними вставлены абзацы, служащие соединительными звеньями и напечатанные без кавычек как рассказ самой Пассек. Но, надо думать, и в этих случаях она использовала герценовский текст, несколько, может быть, перефразируя или сокращая его, но передавая достаточно близко его содержание. Это наше допущение может быть подкреплено выразительным сопоставлением. В одном из таких абзацев Пассек рассказывает о пении Полины, которым она утешала своего грустного друга (см. ниже, стр. 55), — и это место почти точно совпадает с текстом из упомянутого выше чернового отрывка «К „Симпатии“»: «Сколько раз в такие минуты приходил я к Полине, и душа оттаивала, и яд не так сильно действовал. Ее простодушные рассказы, ее сильное

чувство и чистое, как нагорный воздух, веяло здоровьем на большую душу, и, когда ничего не помогало, она убаюкивала меня песнями своей Германии, песнями своего Шиллера — она мне пела Теклу, „Das Mädchen aus der Fremde“ \*, и баркароллу из „Фенеллы“, и молитву из „Фра-Диаволо“, — и много раз душа вылезивалась, раздирающая буря утихла; она, как месяц, всплывала из-за туч, и делалось ясно и светло; я благодарил ее взором и спокойно уходил домой» (изд. АН, т. I, стр. 324).

Учитывая сказанное, мы печатаем ниже, после «прерванного разговора», всю часть главы «Вятка», связанную с темой дружбы к Полине, по корректуре «Русской старины», 1875, № 5 (ИРЛИ, ф. 265, оп. 1, № 18, лл. 187—195).

<1>

Было холодное зимнее утро. День едва пробивался сквозь замерзшие окна. Они выходили на две противоположные стороны в палисадники и были до половины затенены кустарниками, запущенным снегом, что придавало комнате какой-то бледный, холодный оттенок. Ни один из учителей наших не приходил. Около полудня Саша спустился вниз и вошел в гостиную, где я сидела на диване, закутавшись в теплую шаль и низала гранаты.

Мой товарищ по воспитанию, Саша остановился у стола против дивана и, смотря на мою работу с видом соболезнования, сказал:

— Охота вам тратить время на такой вздор. Отдайте кому-нибудь донизать ваши бусы. Неужели не найдете занятия поделнее? Вот мы с вами начали читать «Wahlverwandschaft», да не можем одолеть и начала. Я принес Гёте, хотите продолжать? Да бросьте эту дрянь.

— Работа не мешает мне слушать. Садись и читай.

— Вы знаете, что я терпеть не могу мелкие женские работы, особенно в ваших руках. Они вам не к лицу.

— Что же мне к лицу, по-твоему?

— Мало ли что! малиновое платье, локоны по плечам.

— Кажется, вопрос был о занятиях? Не хочу слушать Гёте. Убирайся.

— Ну, полноте сердиться! Бог с вами, низайте гранаты; они вам будут к лицу. Изгонять Гёте не за что, он ни в чем не виноват. Слушайте, я буду читать.

Он вынул из кармана небольшого формата том сочинений Гёте, сел на диван, и, медленно развертывая книгу, говорил:

— Гёте сравнивают с морем по широте и глубине гения, на дне которого сокровища. Быть может, но я лучше люблю Шиллера — эту германскую реку, этот Рейн, льющийся между феодальными замками и виноградниками, свидетель Тридцатилетней войны, отражающий Альпы и облака, покрывающие их вершины. Или я еще не дорос до Гёте? Быть может; но нет, у него в груди не бьется так нежно-человечески сердце, как у Шиллера. Шиллер с своим «Максом», с своим «Дон-Карлосом» всегда будет мне ближе.

— Посмотрим, что нам скажет Гёте о «Wahlverwandschaft».

Только что мы прочитали начало разговора между Эдуардом, Шарлоттой и архитектором о химическом сродстве, как в гостиную вошла Луиза Ивановна <...> \*\*

— Мы остановились на том, — сказал Саша, принимаясь за книгу, — что в природе есть тела родственные и тела чуждые друг другу. И стал читать.

\* «Деву чужбины» (нем.).

\*\* Опускаем текст Пассек: ее предложение ехать в театр, воркотня Саши и его согласие (см. П., т. I, стр. 248—249).

«—Вызвавши нас на разговор, ты так легко не отделаешься,— сказал Эдуард.— В этом явлении сложные случаи интереснее всего, по ним изучаются степени родства, более или менее близкие, отдаленные, крепкие. Но всего любопытнее их разъединение.

— Неужели это печальное слово, которое, к сожалению, слишком часто слышится в обществе, явилось и в естественных науках? — заметила Шарлотта.

— Конечно,— ответил Эдуард.— В прежние времена слово Scheidekünstler\* было почетный титул, которым определяли химиков.

— Хорошо, что его уничтожили,— возразила Шарлотта,— соединять— великая наука, великая заслуга. Einungskünstler\*\* будет всегда, везде желанным гостем. Так как вы теперь на ходу, то представьте мне два таких случая.

— Если вы этого желаете,— сказал архитектор,— вот вам пример: то, что мы называем известковым камнем, есть, в более или менее чистом виде, известковая земля, тесно соединенная с нежной кислотой, которая нам известна в воздухообразной форме. Едва только известковый камень придет в соприкосновение с разжиженной серной кислотой, как тотчас с нею соединится, и оба вместе являются гипсом. А нежная, воздушная кислота отлетит прочь. Тут было разъединение и новое соединение. Видя такие явления, химики считали себя в праве определить их словами: *выбор* (Wahl) и *выбор по родству* (Wahlverwandschaft),— и действительно, предпочтение одного тела другому делается как будто по выбору.

— Извините меня,— сказала Шарлотта,— в этом я вижу не выбор, а естественную необходимость, и то едва ли; легко быть может, что все это дело случайности. Когда речь идет о ваших телах природы, мне все кажется, что выбор одного тела другим находится в руках химиков. Раз соединены — и бог с ними. Жаль только нежную, воздушную кислоту, которая снова должна блуждать в бесконечном пространстве.

— От нее зависит,— заметил архитектор,— соединиться с водой и явиться в образе минерального, целебного источника.

— Хорошо говорить гипсу,— возразила Шарлотта,— он готов, он тело, он насыщен, а бедному изгнаннику придется, может, много перестрадать прежде, нежели он достигнет нового соединения.

— Если я не ошибаюсь,— сказал Эдуард, улыбаясь,— у тебя за этими словами таится задняя мысль. Признайся. Ты представляешь себе меня известью; архитектора — серной кислотой, которая насыщает меня; я превращаюсь в гипс и лишаюсь твоего милого присутствия.

— Если совесть заставляет тебя делать такое предположение, то нечего и объясняться,— отвечала Шарлотта.— Сравнения милы, они нравятся, ими любят играть; но человек на столько градусов выше элементов, что, роскошно наделивши эти явления красивыми названиями — „Wahl“ и „Wahlverwandschaft“, хорошо сделает, если обратится к себе и подумает об истинном значении этих слов...».

— Значение этих слов ясно,— сказал Саша, положивши книгу,— химическое средство есть основное начало симпатии и антипатии в людях.

— Что за потребность такая в душе человека симпатии? — заметила я. Не ведет ли она к тому высокому братству, которое будет в конечной эпохе человечества?

— Потребность симпатии свята уже тем, что прямо противоположна эгоизму,— отвечал Саша.— Мне представляется, что борьба эгоизма и любви в душе нашей выражается в физическом мире борьбой тяжести и света. Эгоизм мрачен, холоден, стремится к средоточию, к своему я, которое,

\* мастер разъединения (нем.).

\*\* мастер соединения (нем.).

как центр тягости, точка, нуль. Любовь светла, огненна, стремится расширить наше бытие; она, как солнце, освещает и греет.

— Да,— сказала я,— для эгоизма нет ничего на свете, кроме своего тщедушного я, зато нет ему и вечности; для любви нет я, это *мы, мы* — двоих, *мы* — всего рода человеческого, *мы* — всего творения, и нет ей пределов в мире конечном, она гостя оттуда...

— Конечно,— сказал Саша,— и как свет побеждает тяжесть, так и любовь должна победить эгоизм. Тогда человек совершит земное, тогда природа совершит материальное.

— Если бы... это утешительно...

— Счастье мое,— прервал меня Саша,— что судьба послала мне тебя, а «Wahlverwandschaft» нас сблизило. Без тебя я был бы весь сосредоточен на себе и в себе. С тобой научился заботиться о других, любить, высказываться. Без тебя не встречаю и тени симпатии,— одиночество, невысказанные думы, чувства — подавляют.

— Ты бы писал свой дневник, Саша,— это своего рода исход из одиночества, замена друга.

— Я делал опыты; но, уже не говоря о том, что перо — такой холодильник, через который редко проходит, не замерзнувши, истинное, горячее чувство, кто же будет читать?

— Самому будет легче, высказавшись.

— Да неужели ты думаешь, что моей мысли тесно в душе моей? Мне надобно поделиться ею, а не выкинуть из головы; мне надобно передать мысль и чувство живым словом, читать во взоре впечатление, сделанное моим словом,— тогда рождается магнетическое соотношение. Кроме того, я говорю с кем хочу и насколько хочу; а писанное слово, если попадает в чужие руки в часы досуга, является какой-то круглой сиротой: тут мою исповедь начнут разбирать по законам здравого смысла, который составляет такую неотъемлемую принадлежность слонов, порядочных людей и ньюфаундлендских собак...

На этом месте разговор наш был прерван приходом горничной девушки Марианны. Она накрыла скатертью стол перед диваном, поставила на него бутылку люнеля и стала приготавливать завтрак.

Прерванный разговор наш и отрывок из «Wahlverwandschaft» Саша вписал в «брошенные листки» и добавил его новыми рассуждениями. Когда «брошенные листки» попали мне в руки — и я перечитывала их, утро это прошло перед внутренним взором моим со всеми впечатлениями.

«Странное дело,— так продолжается прерванный разговор в „брошенных листках“, начинаясь от ньюфаундлендских собак,— вы слышите за стеною песню — и вам сейчас воображение представляет деву, которая поет, непременно прекрасную, одушевленную; а когда читаете книгу, оттого ли, что уж есть материальная опора — эта бумажная подкладка для мысли, о писавшем никто не думает, словно книга, как плесень, выросла из воздуха. Мало этого, если песня грустна, вы верите, что поющей грустно; а сочинителю никогда не позволяют в самом деле иметь тех чувств, которые он высказывает. Ежели же находятся люди, которые дают себе труд представлять автора, то представляют его себе по своему вкусу и его же после винят, ежели он не таков. У меня есть знакомый, который пламенно любил Гюго до поездки своей в Париж; а как увидал, что его ланиты не покрыты бледностью могильной, что его глаза не восторженны, так он и перестал в него верить. Еще слово... а уж как дойдет до того, что я восторг свой, мысль свою буду продавать за 5 рублей ассигнациями, т. е. без вычета лажа, за 5 рублей 75 копеек, тогда всякая охота писать пропадает. Разумеется, человек, который покупает фунт сыра и мою книгу, имеет полное право требовать, чтобы сыр и книга были по его вкусу; имеет право обругать лавочника и меня, ежели ему за его 5 рублей дано

не то, чего ему хочется. Дивятся, зачем адепты прятали свою науку. Я больше дивлюсь решительности поэтов, которые внутреннейшую мысль свою дают толпе, а толпа, как обезьяна Крылова, понюхает, перевернет — и бросит. Сколько раз бывал я болен душой в театре при представлении Шекспира и Шиллера. Раз давали «Разбойников»: я, задыхаясь, смотрел на эту юношескую поэму, на это страдание Шиллера, принявшее плоть в Карле Море, на этот разврат его века, принявший плоть во Франце, — как почтенный сосед мой, через меня, громко спросил своего товарища:

— Как вы думаете, неужели столько ружей принадлежит дирекции?

— Помилуйте, — отвечал тот, — разве вы по погоням не видите, что это солдатские ружья.

Я взглянул на моего соседа с полной ненавистью; но он так добродушно, так спокойно сидел на своем кресле, так пользовался своим правом в силу пяти рублей ассигнациями, что я, вместо проклятия, попросил у него понюхать табак, хотя в жизни никогда не нюхал.

— Ворошиловский, — сказал он мне, поднося табакерку с растворенным ртом.

Куда приятно после этого писать. Слово живое — то ли дело: оно свободно, вольно: это мое врожденное право, как песнь соловью, — оно несется в воздухе, ему не нужно ни сплюснуться в тисках, ни втесниться на бумагу. Между книгой и речью все различие, как между нотами и музыкой... Между словом живым и мертвой книгой есть среднее — это письмо.

Когда завтрак был готов, в гостиную вошла Луиза Ивановна <далее — рассказ о посещении театра>.

<2>

Долго не находил в Вятке Александр симпатичного себе человека, как 23-го ноября 1835 г. на одном вечере встретился с только что прибывшим в Вятку Александром Лаврентьевичем Витбергом. Саша снова услышал давно отвыкнувшим ухом святые слова: изящное, поэзия; понял гениального человека, полюбил его — и они сблизились. Несмотря на то, что Витберг был много старше Саши, художник был рад найти человека, с которым мог говорить об искусстве. Так как семейство Витберга еще не приезжало, то он и поселился в одном доме с Сашей. Зонненберга уже не было, и они вдвоем устроили какую-то артистическую жизнь; что-то строгое, монастырское парило в их квартире. Целые дни они проводили в оживленных, нескончаемых беседах, часто вечерами засиживались до глубокой ночи, поверяя друг другу думы свои; в Витберге было высокое религиозное образование.

«Она, — говорил потом Саша, вспоминая о Наташе, — едва указала мне бога, и я стал веровать. Пламенная же душа артиста переходила границы и терялась в темном, но величественном мистицизме, и я нашел в мистицизме больше жизни и поэзии, нежели в философии. Благословляю то время!»

Когда приехало семейство Витберга, артист должен был низойти с поднебесья и хлопотать о нуждах будничной жизни. Беседы его с Александром сделались реже и короче.

«Странно, — замечал Саша, — что нет перехода между новым поколением и старым. Об искусствах, о науках мы никогда не спорили друг с другом, понимали друг друга, тут был артист; но как скоро доходило до жизни — овраг нас делил, и я с прискорбием прятал свою тайну в душу свою, боясь его полезного, опытного мнения».

Тысячу раз вертелось у Саши на языке высказать Витбергу о том, что наполняло и что тяготило его; но страшная мысль, что услышит

в ответ: «А думали ли вы о препятствиях и вполне ли убедились, что это не мечта?» — зажимала рот. А он бы, может, и не сказал этого никогда, вся вина его была — зачем он мог предполагать, что тот это скажет. Он молчал, жалея разрушить их дружбу, и находил, что с одной стороны одиночество его продолжается.

Около того времени Саша познакомился с семейством одного аптекаря. Аптекарь звал его много раз. В один вечер, не зная, что делать, он отправился к нему. Его встретил самый теплый прием. Через час он был приятель, через два — короткий знакомый. Саша любил всегда немцев, любил их некрасивую радость, их простодушный разговор. Аптекарь был целиком из комедии Коцебу. Его рассказы о Греции, о Египте, вечный разговор об экономии чрезвычайно напоминали насмешки над немецкой расчетливостью и страсть к политике, к чалме с удивительными именами Али-паши, Ипсиланты, Мехмет-Али. Давно уже дела Греции были сданы в архив, а немцы все еще продолжали говорить об Инсаре, Хиосе, Бодарисе. За то, что Саша удовлетворял его вопросы, он впадал в удивление к его талантам и часто говорил: «Es ist doch schändlich, der Freiherr so viel studirt und sind noch so jung» \*, несмотря на то, что я почти ничему не учился и вовсе не был Freiherr, — говорил Саша. «Немец — это вещь технологическая, — замечал он, — немка — или кухарка, или существо идеальное». Жена аптекаря не была кухарка — бледная, болезненная, она напоминала чистейшее германское племя, какое только живет в Остзейских провинциях. Внутреннее сознание неизлечимой болезни развивало в ней, как и вообще в каждом человеке неизлечимо больном, — особую меланхолию. Александр заставлял ее всегда молчащую и нередко со слезами на глазах. Муж не понимал ее. У них жила молодая девушка, приехавшая из Ревеля в эту даль, в эту глушь из пламенной дружбы к Луизе. Такое пожертвование было чистым героизмом. Семейство это прибыло в Вятку незадолго до приезда Александра и с восхищением слушало немецкий язык на чужой стороне.

Саше у них было приятно. Он начал ходить к ним иногда. Молодая девушка, прелестная собой, огненная, живая, наивная, как дитя, не знала света, не знала людей и с ребяческим удивлением смотрела на них, живя безотчетно, как ласточка в небе, как роза на ветке.

Глядя на нее, он думал, что общество, в которое она, Полина, попадет, обидит, убьет ее нежную душу, — ему стало жаль ее, и он сблизился с нею. Они сблизились шутя. Она откровенно радовалась его приходу, и едва узнала его, как отгадала священную мистерию его души и указала на нее полуребяческим перстом. Она больше поняла, нежели могла высказать. И вот для Саши открылось море симпатии и дружбы. Он подал руку Полине, так звали эту девушку, рассказал ей свою повесть и назвал другом, сестрою.

Возможность этого мудроно понять тому человеку, которого обстоятельства не отдаляли от всего родного, не забрасывали в чужой край, к чужим людям; мудроно понять и всю отраду симпатии, весь отдых от страдания, который содержится в глубоком, сердечном участии. Кто испытал, тот знает, тот поймет.

Девушка эта принесла с собой из своей Германии пламенную, мечтательную душу, взлелеянную нежным, эстетическим воспитанием.

«Как мило развевывался этот цветок перед моими глазами, — вспоминал о ней Саша. — Мне становилось грустно без нее. Я любил смотреть на ее огненные глаза, на ее темные кудри, любил смотреть на ее шалости. Я рассказывал ей нашу встречу, разлуку, переводил ей письма. Она еще

\* «Это ужасно, барон так много учился и так еще молод» (нем.).

никогда не встречала эти бурные бытия, эти schwankende Gestalten \* и робко поверяла мне свою мысль — мысль с улыбкой и слезой, и я берег эту мысль, напоминавшую мне ее. Она все больше привыкала ко мне, все больше и больше делалась мне сестрой. Сначала я боялся испугать ее пространным, безграничным миром фантазии; я переводил его на ее язык, и он легко на нем выражался; к языку порядочных людей я никак бы его не приладил. Ежели вы не понимаете, почему я, отданный навек одной, вдруг так сдвинул мое существование с этой девушкой, я не берусь объяснить».

Итак, maestro при своем обширном уме, по мнению Саши, не мог понять, а эта девушка поняла, и поняла потому, что смотрела просто глазами природы.

Часто утомленный, недовольный собою, Александр приходил к ней и отводил душу свою; она его, грустного, развлекала песнями Шиллера, пела ему «Das Mädchen aus der Fremde», и баркароллу из «Фенеллы», и молитву из «Фра-Диаволо», — и много раз вылечивала его: волнение души утихало, и он спокойнее приходил домой. В другие минуты прибегал делиться с ней счастьем, рассказать мечты свои, и она ее — неизвестную — любила (П., т. II, стр. 46—49).

\* \* \*

В нашу публикацию введено более полутора листов текста, восходящего к «брошенным листкам» — к рукописи автобиографической повести Герцена «О себе» и очерка «Симпатия», находившихся в распоряжении Пассек. Если к этому добавить два ранее выявленные отрывка из той же рукописи, то общий объем сохраненного Пассек текста ранней автобиографической прозы Герцена достигнет приблизительно двух с половиной листов. Для сравнения укажем, что в «Записках молодого человека» три авторских листа. Можно думать, что Пассек использовала в своей работе не отдельные, случайно выхваченные отрывки, а значительную часть повести «О себе».

Разумеется, степень близости обнаруженных нами у нее фрагментов к неизвестному нам подлинному тексту герценовского повествования различна: наряду с цельными кусками, представляющими в этом смысле наибольшую ценность (гулянье под Новинским и Воробьевы горы, университетская жизнь, прогулка на кладбище, последние отрывки из «Симпатии»), среди фрагментов есть отрывки, подвергшиеся обработке Пассек, которая прибегала к сокращениям, перефразировкам и другим подобным приемам. Но до тех пор, пока подлинная рукопись Герцена остается не найденной (поиски ее должны продолжаться), тексты, содержащиеся в книге «Из дальних лет», сохраняют свою относительную ценность как единственный пока источник для суждения об автобиографии Герцена тридцатых годов. Перед исследователями открывается теперь возможность реального изучения раннего творческого опыта Герцена в жанре автобиографии. Результаты этого изучения несомненно обогатят наше представление о творческом развитии создателя «Былого и дум».

\* зыбкие виденья (нем.). — Из посвящения к «Фаусту» Гёте.